Юлиан Семенов

НОВЕЛЛЫ

Юлиан Семенов

НОВЕЛЛЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ» Москва 1966

Р2
С—30

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Кони и люди	6
Ассистент Лёд	14
Ночное дежурство	33
Тропа	44
Дождь в водосточных трубах	53
Мой гид	78
«В горах мое сердце...»	84
Казнь атамана	102

Юлиан Семенович Семенов
НОВЕЛЛЫ

Редактор К. Васильева
Худож. редактор Е. Соколов
Техн. редактор А. Ковалевская
Корректор В. Казакова
Оформление А. Тертышникова
7—3—2

Сдано в наб. 29.XII 1965 г. Подп. к печ. 16.IV 1966 г.
Изд. № 17. Формат бум. 60×90 1/32. Бум. л. 2,0.
Печ. л. 4,0. Уч.-изд. л. 4,49. А12347.
Цена 14 коп. Тираж 200 000 экз. Заказ 4638.
Опубликовано БЗ № 3 1966 г.
Издательство «Знание». Москва, Центр,
Новая пл., д. 3/4.

Типография изд-ва «Знание». Москва, Центр,
Новая пл., д. 3/4.

АВТОРСКИЙ КОММЕНТАРИЙ, В НЕКОТОРОМ РОДЕ НЕОБХОДИМЫЙ

Писать комментарий к своей книге — задача не из легких. Казалось бы, вот вам книга, читайте ее, выносите свое суждение. И тем не менее, я рискнул дать объяснение: дело в том, что этот сборник рассказов — работа в какой-то степени экспериментальная. Я собрал в эту книгу разноплановые, вернее даже сказать, разношерстные рассказы. Единой линии в сборнике нет: тут и новеллы о чекистах, и грустная история про любовь, которая ушла, и рассказ про заснеженное Закопане в польских Карпатах, где люди собираются ранней весной, под синее солнце, чтобы кататься на лыжах, и про рыжекудрого Витьку из Одессы...

Я смотрю на эту книгу как на некий лабораторный отчет о своей работе за последние годы.

Вернувшись из большой поездки по Дальнему Востоку, где я собирал архивные материалы, связанные с героической эпопеей разгрома белых банд красными войсками под

предводительством В. К. Блюхера и П. П. Постышева, я уехал в маленькую деревеньку на берегу Плещеева озера, что возле Переславля-Залесского. Там я поселился у моего давнишнего знакомца, егеря охотничьего хозяйства, и начал писать роман «Пароль не нужен». Но однажды, когда закат был небывало красив, а в гулком весеннем лесу яростно токовали тетерева и в ночном небе пролетали, посвистывая сильными крыльями, невидимые селезни, я отложил работу над романом и за один присест, как давно наболевшее, написал рассказ «Дождь в водосточных трубах».

Писатель обязан быть бродягой — в самом, конечно же, лучшем смысле этого слова. Но когда ты, волею обстоятельств, лишен возможности ездить по стране и жить среди тех людей, которые рождаются впоследствии вторично — как герои твоих романов, тогда особенно ярко и остро вспоминаешь свои бродяжничества — и восхитительную Якутию, и заснеженное тихое Закопане. Отсюда—рассказ «...В горах мое сердце».

Не знаю, как кому, а мне в заграничных поездках делается порой невыразимо радостно от того, что скоро, совсем скоро я буду дома, среди стародавних своих друзей. И однажды, засев в маленьком отеле далеко от Москвы, я написал как объяснение в любви моим това-

рищам по совместной работе в Московском уголовном розыске рассказ «Ночное дежурство», который для себя я называю иначе: «Черновик «Петровки, 38».

Следовательно, я собрал в эту маленькую книжку те рассказы, которые носят характер в некотором роде исповедальный. Я обнажаю технологию, что ли, работы над большой вещью, отдаю на суд читателя те рассказы, которые не были заранее задуманы, а явились «сердцеизлиянием», прорвали строй работы над романом и заставили — сами по себе — написать их. И еще одно, по-моему, существенное соображение: все эти рассказы рождены записными книжками памяти. Выдуманных персонажей в них нет. Только в рассказе «Казнь атамана» несколько изменены фамилии — сейчас еще рановато называть подлинные имена: как героев-чекистов, так и тех врагов, против которых они сражались.

Вот, собственно, и все.

Кони и люди

По склонам холмов разбросаны синие дубки и белые березовые перелески. Воздух, раскаленный солнцем, недвижно лежит над полями. Тишина. Только ласточки весело перекликаются в желтом небе, и еще где-то далеко-далеко слышны звонкие голоса детей.

Сижу с Ленькой Крутиковым на маленьком поле, обнесенном аккуратной изгородью. Здесь два раза в день тренеры работают с конями. Ленька любит коней и мечтает стать тренером. Когда, рассматривая ахалтекинца, похожего корпусом своим на ракету, я сказал: «Красивая лошадь», Ленька смутился, покраснел и тихонько поправил меня:

— Вы не говорите про него «лошадь». Вы, пожалуйста, про него «конь» говорите.

Ленька учится в девятом классе. Он любит пофилософствовать. Правда, философия его носит несколько практический характер.

Он говорит мне:

— Человек коня понимает. И конь нашего брата тоже понимает. С ним ведь разговаривать

можно, с конем. Я, конечно, об этом биологичке ни гу-гу. Сразу двойку врежет. Обидно как-то. А ведь, правда, конь словно понимает. Человека все звери понимают, только к каждому зверю свой подход нужен. Кошка — вроде как малый ребенок. С той легко: мяч из бумаги сделал, на веревочку привязал — и, пожалуйте, друг до гроба. Собака — потрудней. Она вроде школьника: с ней ласково надо и строго, — Ленька улыбнулся. — Я-то по себе знаю. Ну а конь — это человек. С ним хитрить или, как с собакой, воспитательную работу вести не надо, все сам понимает. С ним по-хорошему поговоришь — и точка. Десять классов кончу — в конюхи пойду. Подучусь, а там — в тренеры...

За оградой в поле ходит кобыла Экстра с маленьким жеребенком. Зовут жеребенка непонятно, зато красиво — Эрсон.

Экстра хватает мягкими губами зеленую траву, неторопливо жует, потом вскидывает красивую голову с огромной, чуть не до земли гривой и замирает, вслушиваясь. Она долго стоит так, поводя ушами, и, будто успокоившись, снова склоняет голову и снова мягкими и добрыми губами захватывает сочную траву.

Чуть поодаль пасется табун. Жеребята играют друг с другом, носятся наперегонки, шаловливо дерутся и совсем уже по-детски ластятся после игр.

А маленький Эрсон все время с матерью, рядом. Он не отходит от нее ни на шаг. От трусости или от гордости? Он очень красив, этот жеребенок, он красивее всех остальных, которые пасутся с табуном.

Но вот я вижу: Эрсон, опасливо поглядывая на мать, начинает отходить к табуну. Он идет осторожно, еле переступая ногами. Вот он отошел метров на двадцать, потом еще подальше, а потом перешел на галоп. Он несется во весь опор, весело подбрасывая на бегу зад и брыкаясь копытцами.

Экстра слышит галоп. Она настороженно вскидывает голову и замирает, вслушиваясь во все удаляющийся топот копыт. Вздыхает. Именно вздыхает — горько, по-человечески — и остается стоять со вскинутой головой. Ветер играет с травами, с белой листвой берез, играет с ее гривой. Ветер весел и беззаботен. А Экстра грустная-грустная и словно бы обиженная.

— Сердится? — спрашиваю я Леньку.

— Нет.

— А что же с ней?

— Слепая, — вздохнув, говорит Ленька. — Когда жеребилась, ослепла от боли. Он ей теперь как поводырь. Убежал, а ей и шагу без него не ступить. Но, видите, не зовет его, понимает, что маленький, что поиграть ему охота. Вот так и будет стоять, пока не вернется.

Экстра так и стоит полчаса, час, задрав красивую голову. Она смотрит огромными синими глазами в желтое небо.

Возвращается Эрсой. Он несется от табуна галопом, потом переходит на шаг, а к матери подходит, редко переступая ногами. Экстра чувствует его рядом с собой. Она еще выше вскидывает голову и ржет до того радостно и торжествующе, что даже сердце щемит. Жеребенок подходит вплотную к ней и тыкается мордочкой в пах. Потом обходит мать, тыкается ей в грудь, будто целует, и, повернувшись, идет вниз, к речке. Экстра идет следом, высоко подняв голову. Она ступает по траве горделиво и спокойно, совсем как зрячая.

— Одно слово — конь, — задумчиво говорит Ленька, глядя вслед Экстре.

Ахалтекинца Граведора тренирует маленький, квадратного телосложения человек, голубоглазый, краснолицый, с пшеничной щеточкой усов.

Граведор зло косит глазами, бьет задом, норовя сбросить тренера. Граведор весь в мыле, он скалит зубы, и глаза с каждой минутой все сильнее наливаются кровью.

— Ну! — покрикивает тренер. — Иди! Иди хорошо! Вот так иди! — Он учит Граведора змейке — хитрой, танцующей поступи, похожей

чем-то на балетные па: нога в ногу, и так вдоль всей сцены.

Граведор негодует. Он не хочет идти по-балетному. Он хочет скакать по зеленому полю, а потом залезть в реку и плавать, а потом вылезти и стоять на теплом песке, долго и бездумно.

— Иди! Иди, дорогой! Иди ровно! — приговаривает тренер, натянув поводья так, что голова коня неестественно задрана вверх.

Граведор с норовом, но и тренер не отличается слабостью характера. Единоборство наездника и коня продолжается с полчаса. Я не вижу Леньки, который сидит рядом со мной, я весь в том, как тренер учит коня змейке, спокойно и настойчиво. Но я слышу рядом какие-то всхлипывания. Оборачиваюсь к Леньке. Он белый, губы закушены, и пальцы то сжимаются в кулаки, то, резко разжавшись, замирают на острых мальчишеских коленях.

— Дядь Вить! — кричит паренек. — Дядь Вить!

Тренер бросает поводья и вопросительно смотрит на Леньку. Тот вскакивает с бревна, на котором мы сидим, и кидается к нему.

— Дядя Вить! — молит он. — Вы ж обещали мне его сегодня дать на немножко.

Тренер вытирает со лба пот, снимает свою бархатную жокейскую кепочку и, отвернувшись, смотрит в поле и туда, где по склонам сопок

разбросаны синие дубки и белые березовые перелески. Он долго смотрит туда, а потом говорит:

— Чудак, ты думаешь это плохо, что он так сердится?

Ленька молчит и не поднимает на тренера глаз.

— Ты думаешь, я мучаю его, да?

Ленька молчит по-прежнему.

Тренер резко оборачивается, долго смотрит на паренька, а потом вдруг соскакивает с коня и протягивает Леньке поводья.

— Садись, — говорит он, — и тренируй, как ты считаешь нужным.

Ленька светлеет лицом, хватает повод, быстро подпрыгивает, вскидывает свое легкое тело в седло — и тут же оказывается на земле. Тренер слышит, как Граведор сбросил Леньку, но он продолжает идти по полю спокойно, не оборачиваясь, будто ничего вовсе и не произошло.

Ленька снова вспрыгивает в седло, и снова Граведор, взбросив зад, скидывает седока на землю. И снова Ленька лезет на Граведора и снова оказывается на земле.

Тренер, на секунду задержавшись, стоит, словно раздумывая, как поступить, а потом, потрогав мизинцем пшеничную щеточку усов, возвращается обратно. Он идет неторопливо, вразвалочку. Он подходит к Леньке, красному от до-

сады, берет у него из рук поводья, поворачивает с силой морду коня и, заглянув ему в глаза, спрашивает:

— Как же тебе не стыдно, Граведор? А? Зачем ты так ведешь себя? Нехорошо, малыш. Может, ты плохо себя чувствуешь? А?

Конь отворачивается и шумно вздыхает.

— Может, вызвать доктора? — продолжает допытываться тренер. — Ну-ка, покажи зубы!

Он осматривает зубы коня, смотрит каждое копыто, проверяет еще раз подпругу и, передав снова поводья Леньке, поворачивается и отходит к бревну.

И снова Ленька три раза подряд летит на землю. Тогда тренер подбегает к Граведору, распускает подпругу, берет в руки поводья и ведет его за собой. Все это он делает молча и вроде бы сердито. Он уводит коня в поле, там прогуливает его и все время о чем-то говорит с ним, заглядывая Граведору в глаза.

Ленька сидит со мной, чистит брюки, вымазанные желтой землей, и рассказывает:

— Они, видите, как их объезжает? И лупцует, и по-всякому. А они все равно льнут к нему. Я лаской, сахаром, а они все равно к нему тянутся.

Через полчаса тренер приводит Граведора с поля и говорит Леньке:

— Ну, давай теперь!

Ленька чуть опасливо подходит к коню, стоит у стремени в нерешительности, а потом махом взлетает в седло и, счастливый, смеется. А Граведор поглядывает на тренера умным глазом и чуть шевелит ушами.

Тренер сидит рядом со мной и говорит тихо:

— Из парня выйдет толк. У него доброе сердце.

— Обязательно выйдет?

— Да, конечно. Он падает и не боится. А что еще лучше, не обижается на коня. Только мягок чрезмерно. Но ничего. Поумнеет. Он сейчас думает, что раз мягкий, значит добрый. — Тренер улыбается и хмыкает в усы. — Кстати, очень распространенная ошибка. Злые люди, между прочим, мягче добрых. Доброта, она больше суровости требует. Добрым быть трудно, а?

— Да, — соглашаюсь я, — добрым, действительно, быть очень трудно.

На середине поля Ленька сосредоточенно тренирует Граведора, а мой пшеничноусый сосед с квадратным красным лицом смотрит на них и ласково улыбается, и щурит глаза от яркого, веселого солнца.

Ассистент Лёд

Море в жаркие, солнечные дни вдруг может стать похожим на снежное мартовское поле. Пароход, на котором снимали кинокомедию про тигров, уходил по этому безбрежному мартовскому полю все дальше и дальше от Одессы. На палубе готовились к съемкам и поэтому отчаянно кричали друг на друга. И на фоне этого подготовительного гама и суетни один только долговязый парень, ассистент дрессировщика Фесенко, взятый на временную работу две недели тому назад, неторопливо расставлял барьеры и укреплял стыки предохранительных клеток.

Я подошел к нему и спросил:

— Вас как зовут?

Он ответил:

— Леопольд, — и, вопросительно посмотрев на мою бороду, поинтересовался: — А вас?

—Так же неудобоваримо.

— Коллеги, — сказал он, — привет вам, дорогие родители!

— Вас Леней звать надо, — предложил я.

— Леня — это от ялей. А Леонид — тот же Леопольд, только из Греции. В школе меня звали Лёдом — я спросил.

— Лёд так Лёд, — согласился я, — а меня можете звать по фамилии.

— По фамилии анархисты друг друга звали.

— Почему?

— А черт их знает! Гордые были люди, но глупые.

Лёд связывал стыки защитных клеток и болтал, поглядывая на меня своими маленькими желтыми глазами. Работал он, как все одесситы, споро и весело. Потом к нему подошел укротитель тигров Фесенко и, тронув парня за плечо, сказал:

— Сегодня пойдешь в клетку к зверям.

Сказал и отошел. Он был без рубашки. Я видел его спину. Она была напряжена и закручена канатами продольных мускулов. Его спина жила; я понимал его спину так же ясно, как понимал лицо иного человека. Наверное, такая спина бывает только у дрессировщиков.

Каждый раз, когда дрессировщику предстоит ввести в клетку к зверям нового ассистента, он нервничает. Но нервничает он почти так же, как генерал перед сражением. А генерал есть генерал: даже если войско разбито и сам он пленен, победители оставляют ему кортик. А солдат, участвующий в сражении, знает только од-

но: либо победа, либо смерть. Солдат всегда или победитель, или мертвый.

Лёд из хитроглазого долговязого парня в модных шортах превратился в испуганного и жалкого мальчишку.

— Ты еще ни разу не входил в клетку? — спросил я.

Лёд отрицательно покачал головой и сглотнул комок в горле.

Дрессировщик Фесенко сказал, не поворачиваясь:

— Поскорей кончай и приходи ко мне за оружием.

Лёд молча кивнул.

— Я не слышу, — сказал Фесенко.

— Хорошо, — сказал Лёд, — сейчас приду.

Тигров укачивало. Они лежали в клетках, стонали и глядели на пробегавших мимо людей с тоской и затаенной злобой.

— Зверей здорово укачало, — сказал Фесенко, подойдя к постановщику, — боюсь, что сегодня они не станут играть.

— Мы взяли поросенка. Он будет кричать, и звери разойдутся.

— Разнервничаются, — поправил постановщика Фесенко.—А это плохо, когда звери нервничают.

— А то, что я нервничаю? — рассердился

режиссер-постановщик.—А то, что студия первничает? А то, что главк первничает?

— Так то ж люди, — возразил Фесенко, и в глазах у него что-то быстро зажглось и так же быстро погасло. И этот здоровый гигант с канатной, зрячей спиной, казавшийся недобрым и черствым, сделался на какой-то миг очень мне близким и понятным.

— Пусть только поросенка спрячут под клетку, — сказал Фесенко, отходя от постановщика, — чтобы звери его не видели, не могли схватить. А то вы расстроитесь еще больше, а уж про главк я не говорю...

В эпизоде, который должны были снимать в тот день, главный герой кинокартины прячется от разъяренных тигров в их же клетку. Тигры должны кидаться на стальные прутья, а актер всячески пугаться этого и прятаться от них в угол, затянутый второй сеткой, невидимой для зрителей и недоступной для тигриных лап.

А для того, чтобы укачавшиеся звери полезли на клетку, они должны были услышать крик поросенка, спрятанного в подполе. В каждой клетке есть подпол, нечто наподобие ящика в письменном столе. Вот туда-то и начали запихивать поросенка.

Надо быть очень жестоким, чтобы подробно описывать, как один маленький поросенок сражался с тремя здоровенными ассистентами. Они

визгам поросенку ноги, они бинтовали его веревками, они крутили его, как могли, а он, смешной, бело-розовый, с нежным своим пятачком, вырывался и орал так, что все остальные звуки на пароходе вдруг замерли и исчезли.

Поросенок визжал все громче и отчаянней. Тишина нагнеталась тем больше, чем яростнее орал поросенок. Я увидел Лёда. Он стоял у борта и смотрел в море. Я подошел к нему и тронул его за руку. Он вздрогнул и быстро обернулся. Глаза у него сейчас были добрыми и голубыми-голубыми. Он хотел что-то сказать, но не успел: подошел Фесенко и протянул Лёду кобуру с наганом, заряженным дымными пистонами.

— На, обмотайся, — сказал он и вдруг прикрикнул: — И не кисни! Поросенок орет — так то не атомная бомба!

Лёд остался одесситом.

— Правильно, — сказал он, — когда атомная бомба, тогда так же шумно, только чуть пожарче...

На палубу медленно входили тигры. Я стоял на маленьком выступе, сделанном на рубке, метрах в трех над съемочной площадкой. Я видел тигров совсем рядом с собой, без успокоительных прутьев клетки. Я видел, как у них под модной «нейлоновой» шкурой перекатывались ленивые желваки огромных мускулов.

— Они высоко прыгают? — спросил я постановщика, стоящего рядом.

— До нас допрыгнут, — ответил он и, приблизив к губам блестящий жестяной рупор, крикнул актеру, запертому в клетке:

— Ну, как вы?

— В клетке, — ответил тот.

— А вы? — спросил постановщик оператора.

— Я тоже, — ответил тот: он давно уже сидел в маленькой клетке, приспособленной для съемки.

— Приготовились! — заорал помощник режиссера, стоявший высоко наверху, на капитанском мостике.

Кто-то сразу же ударил хлопушкой и закричал:

— Дубль 17а!

— А может быть, 17б? — поинтересовался оператор, меняя оптику. — Не торопитесь жить, дружище...

— Приготовились! — снова заорал помощник режиссера.

И снова оператор, прикинув камеру по глазу, начал менять оптику, приговаривая:

— Не торопитесь жить, дружище, не торопитесь жить...

— Приготовились! — мрачновато выкрикнул мой сосед в свой блестящий рупор.

— Коллега, — ответил ему оператор уважительно и ядовито, — я готов.

— Начали! — пронзительно прокричал сверху помощник режиссера, и снова громко ударила хлопушка. — Дубль 17в!

На палубу вышел последний тигр, а следом за ним, щурясь от солнца и от синих юпитеров, вразвалочку — Фесенко.

Он обернулся, щелкнул тонким бичом и крикнул:

— Леопольд, что ты там копаешься?

Лёд вышел на палубу, длинно ступая своими тонкими ногами. Все тело его было напряжено, и я даже почувствовал холод его пальцев, сжимавших тонкую палку с заостренным наконечником.

— Возьми мою спину, — сказал Фесенко, — все хорошо идет, видишь?

Лёд стал метрах в трех от него, полуобернувшись к зверям. Тигры медленно разгуливали по палубе. Стало тихо, хотя где-то внизу, под палубой, глухо работал дизель.

Мимо Фесенко тигры проходили как-то особому: чуть замедляя шаги и приволакивая ноги. Мне показалось, что они ходили мимо Фесенко так, как ходят неумелые актрисы, играющие роли старух. Те тоже смешно приволакивают ноги, и сразу становится видно, что они играют и что им очень нравится играть так. Им

кажется, что такая походка дает полную достоверность образу. Наверное, так же и тигры: они думали, что такая походка должна успокоить Фесенко, сделать его добрым и щедрым. А мимо Лёда тигры проходили иначе: быстро и чуть приседая. Наверное, именно так они ходили на охоту: ни на что не глядя и все время приседая, чтобы ежесекундно быть готовыми к прыжку, стремительному и смертоносному.

Вдруг один тигр остановился перед Лёдом. Мне показалось, что я слышу, как тикают часы у меня на руке. Когда страшно, тогда всегда **слышишь, как тикают часы.**

Тигр выжидающе смотрел на Лёда. Они долго смотрели друг на друга, а я все время думал: «Что же он не окликнет Фесенко?!» Лёд не окликал Фесенко, а смотрел в глаза тигру, не моргая, только все больше и больше щурясь. Потом тигр облизнулся, нарочито безразлично зевнул и отошел к клетке оператора.

— Ну что, дурачок? — ласково спросил его оператор. — Скоро вы играть начнете?

А тигры явно не хотели играть. Им не хотелось лезть на клетку, в которой сидел человек и что-то кричал, размахивая руками. Крики актера их не трогали. Они не хотели лезть на клетку: им не из-за чего было лезть на эту клетку.

— Толкните поросенка! — крикнул помощник режиссера сверху. — Пусть он заорет!

Фесенко, не оборачиваясь, протянул руку и коротко приказал Лёду:

— Палку!

Лёд вложил ему в ладонь палку и остался безоружным. Фесенко просунул палку в подпол и начал щекотать поросенка. Тот молчал. Тогда Фесенко стал колоть поросенка в ляжку. Ничто не помогало: поросенок, затаившись, молчал.

Тигры перешли за спину Фесенко: теперь они стояли перед Лёдом.

Прошло уже минут десять, а съемка все не начиналась. Тигры не хотели «работать», а поросенок так и не подавал голоса, хотя Фесенко щекотал его палкой.

— Подразни тигров еще раз! — попросил актера оператор.

Актер снова стал делать страшные рожи и замахиваться на зверей, крича при этом:

— Вот я вас!

Тигры смотрели на него так же, как взрослые — на шаловливого, надоедливого ребенка.

Тогда помощник режиссера, стоявший наверху в безопасности, гаркнул в рупор актеру:

— Отдерите одну планку и высуньте поросячью морду! Тигры тогда разыграются!

— Как бы поросенок не вбежал в клетку, — предупредил дрессировщик.

— Он не может убежать, — ответил помощник режиссера сверху, — зачем вы сгущаете краски?

Когда актер отодрал планку, поросенок стремглав выскочил из своего укрытия. Это случилось в долю секунды—остановить его или удержать в подполе не было никакой возможности.

В тот самый миг, когда в клетке появилось белое смешное четвероногое существо, палубу словно прошили восемь желто-коричневых, стремительных линий. Тигры исчезли с тех мест, где они только что находились. Тигры уже лезли на клетку, рыча и хватая зубами стальные прутья.

— А-а-а! — закричал оператор счастливым голосом. — Играйте, родные, играйте!

Эти слова относились в равной мере и к тиграм, и к актеру, метавшемуся по клетке. Оператор снимал, топая ногой и беспрерывно покрикивая:

— А-а! Хорошо! Умница! Гений! Молодец!

Действительно, все происходившее для кино было огромной удачей: тигры, свирепея с каждой минутой все больше и больше, лезли на клетку, в которой метался человек, стараясь поймать поросенка.

Потом я увидел, как один из тигров — самый большой — метнул в клетку лапу и схватил

поросенка. Тот завизжал так страшно, что вдруг стало очень холодно и кожа покрылась пупырышками.

Актер, позабыв про осторожность, бросился в незащищенный угол и стал вырывать поросенка из лап тигра.

Фесенко преобразился. Он стал худым, поджарым и быстрым. Лицо его замерло в холодной, безжизненной улыбке; в цирке так улыбаются воздушные гимнасты и укротители. Фесенко метнулся к клетке и стал щелкать у тигров перед носом своим тонким пронзительным бичом.

— Назад! — кричал он. — Назад!

Тигры грозно рычали. Они то кидались на Фесенко, то снова бросались к клетке. Я понял, что он отвлекает их на себя, потому что иначе они уже успели бы разделаться и с поросенком и с руками актера.

Потом я увидел, как самый большой тигр сел перед Фесенко и, ощерив огромные — в палец — клыки, заревел, захлебываясь и рокоча.

Остальные тигры словно взбесились. Они слышали крик поросенка, они видели поросенка, они могли разорвать его, а человек, стоявший перед ними, мешал им сделать то, что велела сделать кровь.

— Возьми спину! — крикнул Фесенко Лёду.

Лёд, находившийся чуть поодаль, выбросил вперед левую ногу, потом правую, а потом подался корпусом. Он двигался сейчас как лунатик. Он должен был пройти мимо большого тигра, который по-прежнему сидел против Фесенко и рвал когтями палубу. Большой тигр заметил Лёда. Он заревел еще злее, ударил хвостом несколько раз подряд и стал осторожно прижиматься к палубе, извиваясь и замирая. Было ясно, что тигр готовится к прыжку.

— Хлопушка! — крикнул Фесенко.

Лёд, продолжая медленно идти мимо тигра, стал царапать негнувшимися пальцами тугую кожу кобуры. Он никак не мог отстегнуть крышку и достать наган. Он морщил лоб и кривил лицо, как от зубной боли, продолжая неотрывно смотреть в глаза зверю, который бил хвостом, готовясь к прыжку.

Лёд вытащил наган в тот самый миг, когда тигр, подобрав под себя лапы, лег на палубу и стал ерзать — точно как кошка перед броском на воробья. Тигр вдруг замер, и огромное его тело напряглось. И в этот самый миг Лёд, вытянув руку, направил на тигра наган и выстрелил. Хлопнул синий дымок, и тигр, зажмурившись, обмяк и отскочил в сторону.

— Молодец! — негромко сказал Фесенко. — Держи мою спину, все время держи мою спину, двери очень нервничают...

Фесенко щелкал бичом, отгоняя тигров от клетки, а Лёд неотступно следовал за ним, сжимая в руке наган. Они теснили зверей к коридору, ведшему к клеткам на корме. Тигры приседали на задние лапы, рычали и скалились. Они все время норовили зайти к Фесенко со спины, но там стоял Лёд с наганом в руке. Тигры постепенно отступали от клетки. Поросенок, оказавшись на руках у актера, трясся и стонал. Актер крепко прижимал его к себе и шептал ему что-то ласковое и успокаивающее. А поросенок все равно трясся мелкой дрожью, такой же точно, как актер, и оператор, и постановщик, и я, и, наверное, все, кто наблюдал происходившее. Всех нас трясло, потому что происходившее было по-настоящему страшным. Рассвирепевшие тигры, в которых при виде поросенка проснулся инстинкт, хотели крови.

Постановщик вытер со лба пот и сказал чужим голосом:

— Разве кто-нибудь поверит, что наш хлеб — такой хлеб! — он кивнул головой на опустевшую палубу. — Все думают, что жизнь в кинематографе — сплошное веселье. Вот оно, наше веселье! Мы должны искать правду и снимать правду, а это всегда трудно, да особенно с тиграми, которые могут убить, и ты будешь бессилен, ты не сможешь помочь ничем и никак. А снимать «бодягу» нельзя. Надо, чтобы люди

верили: в картине снимались не статисты в полосатых костюмах, а звери, которым хочется крови...

— Между прочим, — сказал я, — только что было настоящее кино. Этот долговязый ассистент впервые вошел к тиграм и сразу попал в переплет.

— Это не кино, — возразил постановщик, — к сожалению, это не кино. В кино должно все время что-то происходить, а тут ничего не происходило, потому что он оказался храбрым парнем...

Выстрел. Еще один. Еще один.

«Бах! Бах! Бах!»

Стреляют на корме. Там, куда только что отогнали тигров.

— Что случилось?! — страшным, враз осипшим голосом спрашивает постановщик.

Никто ничего не знает. Все молчат. А потом несется протяжный голос:

— Тигр за бортом!

А через минуту еще страшнее:

— Человек за бортом!

Пароход, словно споткнувшись, зарывается носом в море. Мы спрыгиваем вниз, на палубу, и бросаемся на корму, к клеткам. Оказалось, что когда незагнанным остался только один, самый большой тигр, на кормовую палубу, которая расположена метрах в двух над клетками, вы-

бежал поросенок из машинного отделения. Он столкнулся лицом к лицу с тигром. Тигр, спружинив, кинулся на него. Лёд успел в эту последнюю, роковую секунду вскинуть наган и выстрелить три раза подряд. Тигр в прыжке метнулся в сторону и, неловко распластавшись в воздухе, полетел за борт. Фесенко закричал что-то, а Лёд, неторопливо отстегнув кобуру, подошел к борту, вспрыгнул на поручень и, шагнув вперед, полетел в море солдатиком следом за тигром.

Пока останавливали машину, пока спускали моторную лодку, тигр и Лёд скрылись из виду. На море была небольшая, чередующаяся волна. Солнце играло в белых шипучих гребнях, оно слепило глаза. Солнце, одно только отраженное в море солнце было видно сейчас. Только не было видно ни Лёда, ни большого тигра.

Все поднялись на капитанский мостик. Все смотрели в бинокли и наперебой давали капитану советы. Когда первая, самая неожиданная и непосредственная опасность минует, люди всегда начинают давать советы. Неважно кому и неважно зачем. Это что-то инстинктивное и необъяснимое в людях...

Один кричал капитану, что он видит тигра «там», и показывал рукой на запад, другой уверял, что человек плывет не «там», а «тут», и по-

казывал рукой на восток. Один предлагал вызвать по радио вертолет, а другой советовал связаться с пограничниками. Все кричали, размахивали руками, мешали друг другу, а особенно капитану. Тот долго терпел, а потом не выдержал:

— Товарищи, вы меня извините, пожалуйста, только я очень вас прошу, идите отсюда!..

Прошло уже пятнадцать минут, как спустили моторную лодку, которая ходила все увеличивающимися кругами вокруг парохода, но ни Лёда, ни тигра найти не удалось.

Лёд плыл рядом с тигром. Когда тигр набирал слишком большую скорость, Лёд говорил ему:

— Погоди, дорогой, я не поспеваю.

И тигр оборачивался, умно смотрел на человека, плывшего рядом с ним, и останавливался, еле перебирая лапами. Потом они плыли рядом, и Лёд что-то говорил тигру, и тот смотрел на своего спутника круглыми испуганными глазами напроказившего малыша.

Лёд все время менял направление, потому что пароход часто ломал курс, поворачивая из стороны в сторону.

«Они ищут нас, — подумал Лёд, — и не могут найти из-за волны».

Лёд сжал ноги, вобрал в себя побольше воз-

духа и подпрыгнул что было сил. Тигр испуганно шарахнулся в сторону. Звери, как и люди, часто боятся того, чего не могут сделать сами.

— Не бойся, — сказал Лёд отдышавшись.— Я хочу, чтобы они нас увидели.

Тигр быстро уплывал в сторону от парохода. Лёд погнался за ним, упрашивая зверя:

— Да погоди же! Они так потеряют нас совсем! Потонем ведь! Стой, говорю!

Тигр замер, а Лёд, не рассчитав скорости, не смог вовремя остановиться и врезался в желто-кирпичный бок зверя. Он уперся ладонями в бок тигра и зажмурился. Сначала страх оглушил его, а потом первым ощущением, которое дошло до сознания, была дрожь. Тигр дрожал, как простуженный больной человек с высокой температурой. И тогда Лёд открыл глаза и погладил тигра по голове, совсем не чувствуя страха, и сказал ему спокойным голосом, так же неторопливо, как и Фесенко:

— Не бойся, дурашка, они найдут нас...

Теперь он плыл совсем рядом с тигром. Он теперь плыл очень медленно, потому что здорово устал и тигр тоже устал, а пароход был по-прежнему далеко, еще дальше, чем был раньше, а маленькие волны с белыми солнечными гребешками шли одна за другой, то и дело сбивая дыхание, которое стало прерывистым и тяжелым.

— Подожди-ка, — попросил Лёд тигра, — дай-ка я отдохну на тебе, а?

И, ласково похлопывая тигра левой рукой, он обнял его правой и замер так, отдыхая. Отдышавшись, Лёд сказал:

— Ты только не бойся. Я хочу, чтобы они увидели нас.

Лёд отплыл чуть в сторону и стал выпрыгивать из воды, размахивая над головой руками. Он долго прыгал, размахивая над головой своими длинными руками. Он прыгал так, выбиваясь из сил, захлебываясь. Он прыгал так до тех пор, пока пароход не завалился на правый борт и не дал самый полный — прямо сюда, к нему, к Лёду, и к тигру, который был рядом...

Первым на сходни взобрался тигр. Он влез с большим трудом, потому что очень устал в воде и все тело его дрожало. Он пошел вверх, шатаясь, низко опустив голову. Следом за ним, тоже шатаясь, шел Лёд.

Тигр вышел на палубу и лег. И Лёд поднялся на палубу и лег рядом с тигром. На палубе не было ни души, только тигр и человек, лежавшие рядом, голова к голове.

Люди стояли на капитанском мостике и молчали, не зная, что делать. Фесенко несся к пароходу, стоя на носу моторной лодки. Он кусал ногти и вертел головой из стороны в сторону, как большая птица.

А № лежал рядом с тигром и старался от-
. Потом он поднялся, легонько хлоп-
тигра по заду и сказал ему:

— Пошли!

Тигр поднялся и пошел следом за парнем, который вел его в клетку...

Когда Фесенко взбежал на палубу, большой тигр уже сидел в клетке.

— Где парень? — спросил Фесенко.

— Пошел обедать в кубрик,—ответили ему.

Фесенко, весь сразу обмякший и постаревший, поднялся к себе в каюту, достал из стенного шкафа бутылку коньяку, налил полный стакан и влил его одним махом, повалился в кресло.

Ночное дежурство

В тот вечер мне позвонил мой давнишний приятель. Он учился на юридическом факультете, а я вольным слушателем посещал исторический. Приятеля звали Славка. Он сказал, что работает инспектором МУРа в центральной милиции на Петровке, 38, и пригласил провести сегодняшнюю ночь с ним — он был дежурным по уголовному розыску.

...Трое его помощников из оперативной группы играли в домино вместе с шофером дежурной машины. Один спал, свернувшись калачиком на диване. Мы сидели со Славкой на подоконнике и разыгрывали ферзевый гамбит.

Дежурство было спокойным — я ждал иного. Один из оперативников пошел в «Эрмитаж», там украли бумажник у артиста эстрады, и он бурно негодовал в комнате милиции; пожар, возникший в районе Измайлова, быстро потушили, и туда никто не поехал; ребенка, потерявшегося в парке культуры, нашли без помощи центральной милиции, так что можно было играть в шахматы.

В три часа утра, когда мы только-только легли спать, позвонили из Быковского отделения милиции: на тридцатом километре вооруженное нападение на машину — с избиением и угоном. Славка взял двух помощников, мы сели в оперативную «Волгу» и понеслись под красные семафоры по пустой и прекрасной, очень чистой, умытой поливальными машинами Москве. Там, где встречались редкие пешеходы, шофер врубал сирену, и сразу тихие улицы ночного города становились тревожными. Уже светало, небо на востоке делалось сиреневым, а поверху было придавлено чернильно-синим, а уже после — лежала звездная ночь. Было все, как у пророка Исайя: «еще ночь, но уже утро». Изредка Славка включал рацию и спрашивал дежурного по уголовному розыску:

— Алло, алло, я — Воронеж. Ничего нового?

— Пока ничего, — отвечал дежурный, — быковская группа еще не вернулась с места происшествия.

— Чего ж они так возятся? — ворчал Славка. — Могли б и поскорей. Оружие-то у бандитов какое?

— Потерпевший говорит, что били его рукояткой «ТТ».

Славка выключил рацию, обернулся ко мне и спросил:

— Слушай, старик, я на завтра взял билет. Пойду смотреть «Милый лжец». Это—хорошо?

Он не играл, спрашивая меня про спектакль, и про завтрашний день, и про веселую трагедию о Шоу. Ловить людей с пистолетами «ТТ», которые бьют рукоятью и угоняют машины, — его профессия, его труд. Как у детского врача. Или уборщицы. Или редактора.

Уже возле самого Быкова дежурный включил рацию и пророкотал в микрофон:

— Воронеж, Воронеж, я — Омск.

— Я — Воронеж, слушаю тебя, — ответил Славка. — Что-нибудь веселое?

— Нашли одного из банды — он был шестым, не влез в машину.

— Молодцы, — сказал Славка.

Он снова обернулся ко мне и сказал:

— Говорят, что мхатовский «Милый лжец» лучше, чем в театре Моссовета. Ты там не смотрел?

Парень, которого задержали, сидел на табуретке, а Славка — на краешке высокого стола с зеленым сукном и молча разглядывал его, изредка ударяя костяшками пальцев по дереву, закапанному разноцветными чернилами.

— Ну? — спросил наконец Славка.

Парень заерзал на стуле и стал быстро повторять:

— Я ничего не знаю, ничего не знаю я, не знаю я ничего...

Славка закурил, не отрывая от него глаз, а потом сказал:

— Имей в виду, если они напортачат на этой машине — ты пойдешь по делу вместе с ними. Если ты поможешь нам сделать так, чтобы они не нашкодили на той «Волге», тебе же будет лучше.

— Врете вы все.

— Врут, если боятся чего-то или если иначе станет скандалить жена. Ты мне не жена, а боишься меня ты — так что все выходит наоборот.

Парень поерзал на стуле, а потом отвернулся к стене и стал выбивать каблуком частую дробь. Славка сказал:

— Ну?

Парень помотал головой. Славка затушил окурок в старой консервной банке и вышел из комнаты. Я вышел следом за ним. Славка сел на деревянную скамейку, потянулся и сказал:

— Через десять минут все скажет.

— Почему думаешь?

— Тип такой. Пальцами хрустит. И каблуками постукивает.

— Ты, верно, возненавидел род людской, а?

— Наоборот.

— Брось... С такими — возненавидишь.

— Нет, — повторил Славка, — все наобо-

рот, старик. Это сложно, но тем не менее я говорю правду. Я, как собака: понимать — понимаю, а сказать про это не могу.

Через пять минут мы вернулись в комнату. Славка сел на краешек стола и засмеялся.

— Привет, глупенький, — сказал Славка, — сейчас с Длинным очную ставку получишь.

Потерпевший нам рассказал, что один из грабителей был длинного роста. Славка решил играть этими обрывками данных. Но сказал он эту фразу про Длинного так спокойно и уверенно, что парень встрепенулся и спросил:

— Взяли Серегу?

— Взяли.

— Где?

— Сам знаешь, куда они поехали.

— Свистишь, начальник. На пушку берешь.

— Храбрый ты, парень, как я погляжу. Взяли их всех, понял? — Славка уперся в парня глазами. — Всех взяли на промтоварном.

Машину угоняют, как правило, для того чтобы «взять» магазин — продуктовый или промтоварный. Жулики живут по законам, которые до сотой доли познаны сыщиками.

Парень дрогнул лицом и спросил:

— В Санарях?

— Тут я задаю вопросы, а не ты. На ручку. Пиши, пока их привезут.

— Зачем писать, если вы и так все знаете?

— Порядок такой. Ты что, новичок?

— Первый раз. Пьяный я был, Серега уговорил.

Славка спросил:

— Блинов, что ли?

Я понял, что Славка назвал первую пришедшую ему на ум фамилию. И снова он выиграл. Парень ответил:

— Да нет, Кизяков. Длинный.

Славка вышел в комнату дежурного и сказал:

— Пошлите людей в Санари, там, видимо, ограбили магазин. И установите Сергея Кизякова. По кличке Длинный.

— А его устанавливать нечего. Сволочь, недавно вернулся после хулиганства и снова, видишь, начал. Он с Дубков. Дом восемь. Мы же его знаем, как голого.

Славка поставил меня в простенке между окнами. Он и два его помощника на цыпочках пошли к крыльцу дома номер восемь. На углу, в двух шагах от меня, стал третий. Он вытащил пистолет из заднего кармана брюк и сунул его в карман плаща.

Поднималось солнце. Речка, разрезанная солнечными лучами на яркие черные и желтые полосы, дымилась седым туманом. Деревня Дубки еще спала. В лесочке — зеленом, бере-

зовом, молодом — пели птицы. Казалось, что в мире ничего больше нет, кроме этого пронзительного весеннего пересвиста прилетевших с далекого юга птиц.

И казалось диким, что сейчас в это молчаливое, птичье, солнечное утро мы должны прятаться под окнами дома, в котором живет бандит, и хватать его, если он выпрыгнет из окна, и стрелять, если он начнет отстреливаться.

Славка долго прислушивался к тому, что было в доме. Он стоял, приложив ухо к двери, упершись руками в косяк. Потом осторожно поманил меня пальцем, я на цыпочках поднялся к нему, он налег плечом на дверь, и она, пронзительно скрипнув, отворилась. В деревнях не запирают дверей на ночь. Славка стремительно проскочил сени и распахнул дверь, которая вела в комнаты. На большой кровати, укрытый красным ватным одеялом, спал Длинный. Он улыбался во сне. На печке взметнулась старуха и молча схватилась руками за побелевшие, морщинистые щеки. Славка рванулся через комнату к кровати, на которой спал Длинный, схватил его за шею, рванул на себя и сжал обе его руки своими железными пальцами.

— Где пистолет? — спросил он.

— В комоде, — быстро ответил Длинный, побледнев так же, как и старуха на печке: со щек — книзу.

— А вещи из магазина?

— В сарае, — так же быстро ответил тот, сглотнув слюну, и острый кадык черкнул его горло.

Славка отпустил парня и сказал:

— Одевайся, деятель. Сейчас поедем.

Длинный вдруг изогнулся, запустил руку под матрац и рванулся на Славку с финкой. Но он запутался в одеяле и неловко упал на дощатый пол, ударившись лбом о стул. Славка засмеялся и наступил ногой на финку. Парень взвыл:

— Суки, суки! Ненавижу вас...

— Думаешь, я тебя обожаю? — усмехнулся Славка. — Я тебя тоже ненавижу. Хватит выть, не пес. Одевайся.

Старуха слезла с печки и, беззвучно плача, подошла к Славке.

— Снова чего натворил? — спросила она.— Ирод проклятый, паразит...

— Натворил, мать, — ответил Славка. — Натворил.

— Эх ты, — сказала старуха, — на кого ж мать кидаешь? Зубов-то у меня нет, скрошился, кто кормить станет?

— Замолчи, — сказал Длинный. — Прижми язык.

Оперативник достал из комода «ТТ» и передал его Славке. Славка вытащил обойму, пе-

ресчитал патроны, завернул их в тряпочку, и все это — обойму, пистолет и патроны — сунул в карман пиджака.

Длинный открыл шкаф, достал синий бостоновый костюм и драповое, новое пальто. Он надел костюм, повязал галстук, набросил на шею кашне и стал надевать пальто.

— Снимай барахло, — сказал Славка.

— Это мое, а не ворованное.

— Снимай, снимай, герой-одиночка. Мать оставь — продаст.

— Пущай об ней власть позаботится, — сказал Длинный, — у нас власть добрая.

— Ах ты, паразит, паразит, — тихо плакала старуха, — чего же тебе в жизни не хватает, прод окаянный? Всего тебе было в жизни... Всего...

— Ну! — крикнул Славка, покраснев. — Я что сказал!

Длинный дрогнул лицом, усмехнулся и стал снимать пальто, а потом синий бостоновый костюм.

— Мамаша, ватник ему принесите, — сказал Славка, — и старые брюки.

Пришел второй опер и доложил:

— Вещи в порядке, все цело, под дровами в сарае.

— Хорошо. Сиди здесь, я пришлю машину — заберут.

Когда Длинного увели, Славка задержался на минуту в доме и обратился к хозяйке:

— Мамаша, водички дайте, пожалуйста.

— Сейчас, сынок, — ответила старуха. Она, плача, смотрела, как Славка пьет воду.

— Сынок, — сказала старуха. — За что ж мне мука такая?

Славка обнял старуху за плечи. Меня поразило его лицо — скорбное и мгновенно постаревшее, и в то же время удивленно-обиженное, словно у младенца, который в первый раз столкнулся со злом и неправдой.

Мы вели Длинного по широкой, нескончаемо протяженной деревенской улице, к нашей оперативной машине. В сараях надрывно мычали коровы. Голосили петухи. Из труб валили дымы — штопорящиеся, прозрачные. По шоссе, что шло неподалеку, проносились машины и красные автобусы. Из домов выбегали ребятишки с портфелями. Было слышно — откуда-то издалека по радио транслировали урок гимнастики. И через этот утренний, прекрасный покой шел жулик по кличке Длинный, подняв острые плечи и глубоко засунув руки в карманы старых брюк.

Возле машины Славка остановил Длинного и сказал:

— Обернись, парень.

Тот обернулся.

— Посмотри, что ты потерял. Посмотри на все это. Посмотри на эту красоту. Посмотри как следует.

Длинный молчал.

— Ты можешь все это вернуть, — сказал Славка. — Можешь. Только для этого нельзя быть негодяем. Для этого надо стать человеком.

Тропа

В конце сентября тайга сделалась гулкой и пустой. В ней появился новый цвет — осторожный, сероватый, кое-где переходящий в синеву, а это серо-синее было иссечено коричневыми стволами деревьев и черными ветками.

Мне надо было уйти с охотничьей заимки возле Синих Падей, где, ожидая начала белковья, стоял лагерем промысловик Саша. Я должен был добраться до села Чары. Оттуда раз в неделю в Читу ходил ЛИ-2.

Когда я сказал Саше, что дальше в тайгу я не смогу пойти, он понимающе усмехнулся. Прикурив плоскую сигарету от уголька из костра, он глянул на меня своим фиолетовым глазом, чуть подмигнул и лег на землю, сплошь усыпанную желтыми опавшими листьями. Поставив себе на грудь маленький транзисторный приемник, он стал искать музыку. Красненькая шкала цеплялась за разноязыкий говор и вырывала резкие музыкальные фразы из таинственного мира радиоволн.

— Один не выберешься, — сказал Саша, —

здесь тропа с перерывом. Теряется здесь тропа. Дошлепаем до Распадка, там лесосплав, там и решим.

В Распадке, опустевшем к осени, сейчас жили три человека: медсестра Галя, сторож (в тайге эта должность выглядит довольно смешным новшеством) и начальник сплавконторы, который дожидался приказа, чтобы уйти в Чары. Но приказа все не было, и он сидел в Распадке, играл со сторожем в карты и домино, а по утрам уходил ловить харнусов в стеклянной мутно-зеленой заводине. Начальник, с которым Саша был дружен, отпустил медсестру Галю на три дня раньше срока, благо лечить здесь было некого. И на следующее утро мы пошли с Галей через тайгу в Чары.

Саша проводил нас до мосточка, переброшенного через ручей. Он стоял на мосточке долго — до тех пор, пока мы не свернули с дороги в тайгу. Маленький нежный якут с фиолетовыми глазами и тонкими руками танцовщицы — хороший мой товарищ, который умел и молчать, и смеяться, и пить спирт, когда наваливалась мильонозвездная ночь, и находить в кромешной темноте оленей, если надо было уходить от дождя с гольцов в чащобу, и не смеяться, когда ты неловко грохался со скользкой древесины в ручей,—словом, который умел быть другом, а это, как известно, редкостное и ценное качество.

Галя шла по тропе быстро, словно куда-то опаздывала. Она шла впереди, я—за ней. Мушка ее тозовки раскачивалась в такт шагам. Иногда девушка принималась высвистывать песенку, но каждый раз, едва начав, обрывала себя и прибавляла шагу.

— Нам далеко? — нелепо спросил я.

— Километр с гаком, — ответила девушка не оборачиваясь. — Только здесь гак особый, таежный. В одном гаке от пяти до ста километров, точно пока еще никто не замерил.

Я засмеялся. Девушка впервые за все время обернулась: курносая, с черной челкой на лбу, глазищи голубые, круглые, на щеках рыжие веснушки.

— Ты местная? — спросил я.

— Ну да! Я столичная, с Иркутска.

— Давно здесь?

— По распределению. Третий год.

— А самой сколько?

— Старуха.

— Значит, двадцать два, — предположил я.

— Ну да!—фыркнула девушка.—Двадцать два — это уже бабка, а я не бабка, а пока просто старуха. Двадцать мне.

Мы вышли из мрачного серого перелеска на взгорье. Перед нами в низине лежали два озера. Одно было длинное, формой похожее на Байкал, а второе круглое, как сковорода. Длинное

озеро было прозрачное, а круглое — черное, маслянистое. Посредине черного озера сидела стая белых уток. Они казались белыми из-за того, что подкрылышки у них были светло-голубыми. На черной воде светло-голубые линии крыльев были видны издали, и они-то делали уток белыми. Это была последняя утка, северная, она шла по ночам огромными табунами, и мы слыхали посвист их крыльев: стаи были громадные, проносились низко и стремительно, будто реактивные истребители при взлете.

Галя долго смотрела на черное озеро и на белых уток. Вокруг было тихо, только иногда где-то далеко в тайге сухо потрескивал валежник. Но этот потреск еще больше подчеркивал тишину; без него тишина не была бы столь слышимой и величавой.

Девушка вздохнула и начала тихонько высвистывать песенку про тишину. Потом резко оборвала себя, грустно чему-то улыбнувшись.

— Ты отчего ни одну песню до конца не свистишь?

— Нельзя. Если свистеть — денег никогда не будет. С забывчивости свищу, вроде Леньки.

— Это какого ж?

Галя ничего не ответила, только мотнула головой. Лес теперь был низкий, все больше сосны с расплющенными кронами, будто с японских рисунков по фарфору.

Внезапно Галя остановилась, махнула мне рукой, чтобы и я стал. Она сняла с плеча мелкашку, приложилась и выстрелила — почти не целясь, по-мужски. Что-то мягко стукнулось об землю. Галя сразу же после выстрела рванулась к сосенке и подняла красно-серую белку. Она положила ее в сумку и наставительно сказала:

— Шкурка шкуркой, а гуляш с нее тоже — сплошное объеденье.

Рыжее солнце, иссеченное черными стволами сосен, было низким и холодным. В воздухе высверкивали серебряные струны паутины. Иногда среди синей хвои загоралась красная листва клена. Я вспомнил шпаликовскую песенку:

Клены выкрасили город
Колдовским каким-то цветом.
Это значит — очень скоро
Бабье лето, бабье лето...

...Часа в три мы остановились на отдых. Я срубил сухое дерево, и мы разожгли костер. Галя пошла за водой. Она шла и прислушивалась. Она ступала осторожно и мягко. Сделает несколько шагов — и станет. Поворачивает свое курносое голубоглазое лицо из стороны в сторону, словно принюхивается.

Потом она скрылась в чащобе. Я ждал ее, глядя в костер. Пламя было белым, обесцвеченное солнцем. Девушка изредка покрикивала, и я отвечал ей. Она вернулась с котелком, в кото-

ром была синяя вода. Эта синяя вода пахла морозом и хвоей.

— От такой воды год жизни прибавляется, — сказал я.

— День, — очень серьезно поправила меня девушка, — это уж точно, как медработник говорю.

Она отстегнула топорик с красной пластмассовой рукоятью и начала рубить два сухих дерева.

— Зачем? — спросил я. — На костер хватит и одного.

— А я не для костра.

Девушка срубила сухие деревья, сделала из них указатель и вырубила по стволу: «Вода». А подумав, добавила: «Мин. вода».

— Там этот родник, — сказала она. — Здесь иногда встречаются эти родники, они целебные, силы прибавляют. Вот я оставлю указатель для того, кто двинется следом. Мы ж тут первыми идем, тут раньше никто не ходил, это прямиком дорога.

— Заблудимся.

— Ну да! А компас зачем?

Мы выпили по большой кружке дымного чая. Большие чаинки плавали поверху. Галя поддела чаинку кончиком своей аккуратной наборной финки, а потом спрятала за шиворот.

— Это зачем? — удивился я.

— К подарку, — ответила девушка и засмеялась. — Обязательно будет подарок, если всплыла такая громадная чаинка. А если ночью над домом гуси кричат, значит получишь телеграмму. Я проверяла, знаю... Ну, двинем...

И мы пошли дальше. И снова девушка вышагивала впереди, и мушка ее тозовки кувыркалась в такт шагам, словно ванька-встанька. Мы перешли обезводивший ручей по серой шершавой гальке. На том берегу начался бурелом, лес был частый, жуткий, увит ссохшимися жгутами дикого хмеля. Галя вытащила топорик и, когда идти становилось особенно трудно, ловко помогала себе, прорубаясь сквозь сухой бурелом. Мы шли долго. Лоб и виски стянул пот. Я оглянулся: позади нас в замшелом буреломе тянулась отчетливо заметная каждому тропа.

А вскоре мы выбрались к реке. Это была Чара, самая красивая река из всех, какие я видел в жизни. Она глубока, метров пять, не меньше, но вся видна на просвет. Даже разноцветные громадные камни на дне. Мы долго стояли на берегу и смотрели, как среди громадных разноцветных камней по дну навстречу течению — рокочуще-стремительному — медленно плыли большие, жирные рыбы. Можно долгие часы смотреть, как живет река. Девушка разглядывала дно зачарованно, и курносое лицо ее было одухотворенным и прекрасным.

Дальше мы шли по тропе, вдоль реки. И както совсем не думалось, что мы прорубились сквозь чащобу и оставили людям новую короткую тропу, которой раньше вовсе не было. В Чары, на поле, где садится самолет, мы вышли, когда солнце ушло, небо стало прозрачным, и студеным, и необычайно высоким, и в нем медленными линиями выстроились громадные косяки гусей.

— Ну, пока, — сказала Галя, — счастливо долететь.

— Спасибо тебе. Куда теперь?

— Куда пошлют, туда и полечу.

Она пошла по мощеной широкой дороге, которая вела к большим домам села. Среди двухэтажных сборных домов ее фигурка показалась вдруг неуклюжей. А в тайге, когда мы шли с ней, она была необыкновенно грациозна и хороша в лыжных брюках, коротких сапожках, с финкой, мелкашкой и топориком — женщина, о которой всю жизнь мечтал Джек Лондон.

Я слышал, как она тихонько насвистывала: в вечерней тайге звуки не исчезают сразу, они долго сохраняются в воздухе. Я подумал, что если когда-нибудь стану писать об этой нашей дороге из Распадка в Чары, то рассказ назову «Девушка, которая оставляет тропу». Это было дьявольски хорошо: осенний лес, косяки гусей, громадная тишина и маленькая девушка впере-

ди. Все это заставляет вспоминать настоящую поэзию, и звучат в памяти строки:

Глухая пора листопада,
Осенних гусей косяки,
Расстраиваться не надо,
У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину занянчив,
Все стонет под нашим крыльцом,
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.

Там все так же, как здесь, в Центральной России. И люди там такие же, только, может, самую каплю иные, и реки там такие же, только чуть-чуть отличаются от здешних, и леса такие же, только там больше хвои.

Дождь в водосточных трубах

Когда появлялось солнце, лед делался синим. И Переславль-Залесский, разбросанный по другому берегу Плещеева озера, тоже становился синим. И купола церквей, поставленных здесь еще Невским, калились изнутри переливно-синим цветом, будто отгоревшие костры. А когда солнце пряталось за облака, все менялось: лед казался грязно-серым, город почти переставал быть виден, а купола ближних церквей делались жухлыми.

Корсаков любил эту раннюю солнечную тишину на рыбалке. И все остальные рыбаки, приплывшие сюда, тоже любили тишину. И когда за спиной, возле камышей, загремел низкий бас, Корсаков удивленно дрогнул лицом и обернулся. Громадный краснолицый мужчина остановился метрах в десяти от лодки Корсакова. Он воткнул у носа лодки корявый, непомерно длинный шест и заорал:

— Смотрите, здесь же песок чистой воды! У вас поплавок похож на вымя! Какой спуск надо давать, приятель?! А вон под берегом абст-

рационист сидит — с бородой и в шляпе! У меня суставы распухли, как штатное расписание!

— Тише, — попросил Корсаков сморщившись. — Вы и всю рыбу распугаете.

— Это люди пугливы, а рыбы полны наивного героизма.

— Тем не менее, пожалуйста, потише.

— Что вы шептун какой?! Сейчас надо громко жить, во весь, что называется, голос...

«Идиот, — подумал Корсаков, — жизнерадостный, наивный идиот».

— Кстати, милейший, у вас много мотыля? Меня зовут Михаил Иванович! А вас? Понимаете, перепутал банку и вместо мотыля взял монпансье. Черт, а?

— У меня мало мотыля, — ответил Корсаков.—Очень хороший клев, червяк идет быстро.

— Бросьте! Я ведь вижу: у вас много мотыля.

— Знаете что, — сказал Корсаков, — может быть, вы отъедете в сторону?

— Рыданье служило ответом, — загрохотал Михаил Иванович. — А не эгоист ли вы, голубь?

Он отъехал к лодкам, которые стояли почти возле самого берега. Лодки казались врезанными в черный лист воды. Через несколько минут Корсаков услыхал Михаила Ивановича снова.

Тот кричал:

— Это, по-вашему, плотва? Это не плотва, а килька! А у вас нет мотыля? Не жадничайте, люди, я возмещу вам вечером сторицей! Сестра из Москвы привезет, право слово! Какой здесь надо делать спуск? Ваш поплавок похож на мину, любезнейший! — Замолчал он внезапно и так же внезапно заорал через час: — У меня идет акула, а не плотва! Нет, посмотрите, вес, а?! У вас нет безмена? Не жмитесь, голубь, я уверен: у вас припрятан безмен!

Корсаков смотрел на дно и видел, как под днищем лодки в длинной траве, среди желтых корневищ прошлогоднего камыша металась плотва — дно здесь было близкое, полметра. В воде рыбы казались длинными, как торпеды.

«В каждой рыбе есть что-то от хищника, — думал Корсаков. — Только карась безобиден и трогателен, он вроде сказочной золотой рыбки. А может быть, мы для себя выдумываем про хищность. Чтобы ловить было сподручней. Говорят, шахматисты ссорятся друг с другом перед матчем, чтобы злее играть. А охотники, которые бьют тетеревов на току, оправдываются Писанием, потому что там вроде бы говорится: «птица, сидящая на земле, предназначена для человека, а та, которая в небе, — та свята...»

Рыбы ходили вокруг крючка: глубина здесь невелика, и дно просматривалось, будто через увеличительное стекло. Рыбы игриво обходили красного мотылька, касаясь его боками. А та рыба, которая шла дальше всех остальных и, казалось, никакого внимания на мотыль не обращала, вдруг, сломав первоначальное направление, устремлялась к мотылю. И Корсаков скорее чувствовал, чем видел, как поплавок уходил под воду — быстро, косо и тревожно. Корсаков несильно подсекал, конец удилища выгибался вопросительным знаком, и рыба, став в воздухе маленькой и жалкой, а совсем не хищной, резала быстрый полукруг: из воды — к груди Корсакова, а потом — на дно лодки.

«Отчего это весной такие синие леса? — медленно думал Корсаков. — Видимо, из стволов выходит холодная сырость и поэтому стволы чернеют, а воздух по утрам серо-розовый. Наверное, если соединить серо-розовый с черным, получится синий цвет...»

Выплеснувшись из-за туч, солнце шлепнулось об воду, сделало ее тяжелой, темной и литой, растеклось длинными бликами на миллионы маленьких и злых солнц, прокатилось по льду, лежавшему на середине озера, и там исчезло, словно растворилось.

Корсаков осторожно привстал с сиденья, повернулся и сразу же увидел еще с десяток ло-

док, поставленных на бритвенно вороненую гладь воды. Ближе всех к нему снова оказался Михаил Иванович. Тот вроде бы только и ждал момента, когда Корсаков обернется.

— Ага! — закричал он зычно. — Отлились вам мои слезы! Я-то вижу, что у вас нет рыбы! Слушайте, у вас сырку плавленого не осталось? А? В деревне ветчиной отдам, сестра должна привезти из города. А?

— Хлеб есть.

— У меня брюхо подвело. Кидайте, а то я все время о еде думаю.

Корсаков бросил соседу большой ломоть мягкого черного хлеба. Михаил Иванович неожиданно для его комплекции легко вскинулся с лавки, ухватил хлеб на лету, прокричал что-то воинственное, потом, крайне довольный собой и окружающими, подбросил хлеб над головой, очевидно представляясь фокусником, хлопнул в ладоши, крикнул «але-ап!», но поймать хлеб не успел, и ломоть плюхнулся в воду.

— А-а-а! — заорал Михаил Иванович. — Идиот! Дурень!

Кто-то из рыбаков с лодок хмыкнул:

— Это тебе заместо диеты, вон брюхо-то развесил какое.

— И рыбе, обратно, санаторий, — добавил с берега «абстракционист в шляпе».

Михаил Иванович долго бранился, шумно

заводил подвесной мотор, стонал, когда сдирал в кровь кожу на пальцах, и долго еще — пока лодка шла вдоль камышей к устью речки — было слышно, как он гневался и ругал все и вся. Внезапно он замолчал и протяжно, по-кавалерийски крикнул:

— Э, ловцы! Лед к берегу понесло с середки! Сматывайтесь, а то не выберетесь потом.

Стукнули уключины, и лодки рядом, будто утки, потянулись следом за Михаилом Ивановичем к устью речки. Рыбаки, казалось, еле трогали веслами воду. Но тем не менее лодки шли очень быстро, словно на гонках. И чем дальше они уходили, тем отчетливее становилось видно, как они постепенно поднимаются над водой и плывут по белой чуть дрожащей полоске, которая пролегла под днищами. Потом лодки совсем исчезли из виду, и Корсаков остался один в этом маленьком заливе, среди прошлогодних, изломанных зимой камышей, которые все время шевелились, но не от ветра, а из-за того, что внизу, среди корневищ, ходили табуны плотвы. Изредка среди камышей быстро высверкивало что-то желто-красное, и Корсаков догадывался, что это прошла икрянка. Он вглядывался в то место, где только что высверкнуло, и обязательно видел там штук семь молочников, которые шли за икрянкой неотступно, как стража.

С озера налетел ветер. Он прошумел, про-

свистел, словно раздразнивая самого себя, и вдруг исчез в прибрежном лесу. Стало тихо-тихо. И в этой пустой тишине Корсаков услышал тугой перезвон, словно где-то заиграла детская музыкальная шкатулка. Сначала Корсаков подумал, что это у него в ушах звенит. Но оглянувшись, увидел, как прямо на него, туго покачиваясь на черной воде, медленно надвигался лед. Он ломался, торосился, льдины лезли одна на другую, крошились и расползались стремительными черными трещинами. От этого в воздухе плыл перезвон, будто вокруг развесили сотни колокольчиков, отлитых из прозрачного, неведомого еще металла.

— Черт!—сказал Корсаков.—С ума сойти!

Свой голос показался ему сейчас до того грубым, а сказанные слова — такими чужими, что он сморщился и покраснел. Краснел Корсаков легко и часто, но всегда старался при этом смеяться, чтобы окружающие думали, что он покраснел от смеха, а не от смущенья.

«Как же мы не умеем находить нужных слов! — подумал Корсаков. — По-видимому, в литературе значительно больше белых пятен, чем в физике. Еще не открыты слова, которые смогут точно определять прекрасное и ужасное, высокое и подлое. А к тем штамповкам, которые произносятся часто, мы перестали относиться с доверием, потому что они только на-

зывают что-то, но объяснить ничего не могут. Отсюда — «черт. с ума сойти» — о прекрасном и вечном, что сейчас вокруг меня. Пока эти новые слова не открыты, книги надо писать разноцветными карандашами, как пишут дети, ей-богу».

С берега потянуло сыростью и холодом. Льды остановились. Перезвон ушел в небо и там замер. Несколько минут было тихо. Потом льды стали отходить обратно, на центр озера. Но сейчас, отходя, льды скрипели и скрежетали, будто ночное отступление по мерзлой дороге, никакого перезвона не было и в помине.

Одна льдина, величиной с лодку, откололась от массива и, медленно кружась, стала приближаться к Корсакову. Он подтянул ее веслом поближе к себе. Льдина была пористая, порезанная солнцем, составленная из тысяч замысловатых, переплетенных сосулек. Корсаков пригнулся к льдине и в ее серединке услышал давешний музыкальный перезвон, только еще более нежный и тихий. Шло таяние. На льдине были видны черные, вдавленные следы трех подков. Подковы были обращены серпом к Корсакову.

«Хоть и следы, а все равно к счастью, — подумал Корсаков и улыбнулся. — Через день-два льдина умрет. Она будет умирать ночью, когда на озеро падет туман. Но следы на ней — вроде человеческой памяти. Они не умрут с ней.

Я их запомню. И скажу сейчас про это вслух. А через сто лет, когда люди научатся записывать голоса ушедших предков, они поймают на какой-нибудь радиоволне и мой голос, который будет говорить им про льдину, и про подковы на ней, и про этот день. Голос вечен. Смешно: голос вечен, а человеки мрут как мухи, и нет о них памяти. Хотя голос ведь вечен...

Хозяйка, у которой Корсаков всегда останавливался на майские праздники, была удивительно краснолица и круглоглаза. Варя — так звали хозяйку, — как и все люди, похожие на нее добрым лицом и круглыми глазами, была улыбчива. Она улыбалась все время. Даже ночью. Корсаков заметил это, когда выходил на верандочку покурить. Варя спала на руке у здоровенного своего мужа — егеря Тимофея — и улыбалась круглым, детским ртом. Движения ее тоже были округлы, хотя и очень быстры.

Когда Корсаков вернулся, Варя, заулыбавшись, принялась рассматривать рыбу и все сказала, что мелковата, вот разве одна удача — икрянок много, а ее нет вкусней, если сразу же закоптить на ольховых дровах.

На столе, поставленном в углу, возле иконостаса, стояла крынка топленого молока и банка с желтой щучьей икрой. За столом сидел Тимофей и сосредоточенно крутил козью ножку.

Предзакатное, каленое, красно-черное небо было торжественным, как похороны. Над озером лежала гулкая тишина. Неподалеку, на шестом километре, тоскливо гудел маленький паровозик. У переезда через узкую колею зажгли фонарь. Это был старый керосиновый фонарь, какие стояли на железных дорогах лет пятьдесят назад.

Тимофей, покосившись на жену, достал откуда-то из-за радиоприемника четвертинку. Корсаков запил водку топленым молоком, присолив его крупной желтоватой солью.

— Неужели так идет? — удивился Тимофей. — Водка простору в животе требует, а здесь молоко бешеной коровы получится.

— Хрен с ним, — ответил Корсаков,—главное, чтоб не смертельно.

— Да, забыл... Тут профессор к вам приходил, хлеб возвратил.

— Какой профессор?

— Михаил Иванович, жирный такой.

— Который орет, что ль?

— Не замечалось этого за ним. Мужик до того, кто орет, зоркий. Он тут у Зубанихи остановился, через три дома.

Варя, стоявшая за перегородкой, сказала:

— К нему сестра из Москвы приехала.

— Сестра, — фыркнул Тимофей. — Разве такие сестры бывают?

— Соловый, — засмеялась Варя, — тебе все на уме грех.

— А чего? В нем — счастье.

Варя принесла и поставила на стол сковородку с картошкой, стукнула Тимофея по затылку и сказала:

— Вот, Юрий Васильевич, десять лет с ним маюся, а он, как волк, все в лес смотрит...

— Так ведь не бегу. А смотреть — и ворон смотрит, а птица с большим рассудком.

— Рассудок, — улыбнулась Варя. — Если его в людях нет, так откуда же в птице взяться?

Тимофей ответил жене что-то веселое, и они засмеялись, но Корсаков не слышал, что он ей ответил, потому что вспомнилось ему, как он приехал в этот дом семь лет назад с женщиной, которую любил. Они тогда сидели за этим же столом — вчетвером, пили водку и ели картошку в мундире. И так же смеялись, и так же горел желтый керосиновый фонарь на переезде.

Корсаков постучался к Зубанихе.

— Войдите! — прогремел Михаил Иванович. — А, голубь! Прошу к столу! Мы пируем! Это — Надя! Сестра. Для краткости зовется первой литерой — Эн! Послушайте, а вы не Корсаков? Похожи на его портреты! Нет? Ха! Он принес хлеб! Зачем вы принесли хлеб, голубь? Это предлог, а?

— Предлог.

— Садитесь, кефиром угостим. Эи, дай ручку дяде.

Надя оказалась совсем юной, тонкой, как хлыст, и очень резкой в движениях. Она гибко перегнулась через стол и протянула Корсакову длинную руку. Волосы упали ей на лицо, но она не стала убирать их, и Корсаков сказал:

— Вы похожи на гогеновских женщин.

— Ее задача ни на кого не походить. Не бесите мою сестру.

— Вы будете кефир или чай? — спросила Надя.

— Кефир — это что?

— Кефир — это кефир. Вы думали, что я имела в виду закодированное название коньяка?

— Почему только коньяка? Тут возможны варианты.

— Нет вариантов, увы. Я привезла кефир, Миша и от него пьянеет.

— У вас странный диалог, — сказал Михаил Иванович. — Эи, не сходи с ума, я ложусь спать. Голубь, бойтесь эту женщину, у нее мой характер.

Разбросав вокруг себя стулья, Михаил Иванович ушел, а Корсаков еще долго сидел, мучительно наморщив лоб, и вспоминал, как надо правильно говорить: «бойтесь эту женщину» или же «бойтесь этой женщины». То, что он

так и не мог толком разобраться, как следовало бы говорить верно, показалось ему забавным, и он сказал вслух:

— Смешно.

Он вообще иногда произносил вслух какие-то мучившие его слова, и когда рядом бывали люди, очень этим смущался и, чтобы хоть как-то сгладить возникавшую неловкость, начинал загадочно улыбаться и повторять несуразное:

— Ешно, но, смеш...

При этом у Корсакова быстро двигался нос и закрывался левый глаз. Кое-кто угодливо смеялся, считая это чудачеством. Его это устраивало, потому что объяснять про контузию было бы нелепо и жалко, а так — чудачество, оно всегда воспринималось с доброжелательством. Корсаков даже заметил, что несколько его приятелей, из тех, что помоложе, стали подражать ему, произнося вслух непонятные слова, быстро при этом двигая носом и закрывая глаза.

Надя спросила:

— Быть может, вы хотите покушать?

— Спасибо. Я только что ужинал.

— «Кушать» — это лакейское слово, да?

— Почему?

— По литературе. Помните, в литературе прошлого века?.. Только лакеи говорили: «Кушать подано». Господа всегда говорили: «Милости прошу перекусить»...

Корсаков усмехнулся и сказал:

— Занятно.

«Так начинаются все интрижки, — подумал он, глядя на девушку. — Легкая переброска недосказанностями, долгие паузы, глаза, сиюва недосказанности. Тьфу! Как все-таки это знакомо и просто?! Скотство или любознательность? Наверное — то и другое вкупе».

Ночь разметалась над землей. Облака лежали низко, будто одеяла, сбитые горячечно-больными в бреду.

— К грозе, — сказал Корсаков.

— По-моему, пройдет левее, — ответила Надя.

Они медленно шли по уснувшей деревеньке, название которой было необычно, как и все здесь, — Купавна. Белые наличники окон словно фосфоресцировали и, казалось, подсвечивались изнутри каким-то холодным, искусственным светом. Лес шумел гулко, приливами.

— Вы любите ночной лес? — тихо спросила Надя.

Корсаков закрыл левый глаз, завертел носом и ответил:

— Не знаю, право...

— А почему вы смеётесь?

Корсаков хмыкнул и ничего не ответил. Когда с ним начинали говорить о красоте природы, Корсакову делалось неловко и он не знал, что

этвечать. Ему казалось, что прекрасное можно писать на холсте, в литературе, но только говорить о нем не стоило бы. Ему не хотелось соглашаться с очевидным, названным именно так, как и нужно было назвать по грамматике. Смысл искусства — в первооткрывательстве, а моментальная фиксация увиденного — прерогатива рыночного фотографа. И еще Корсаков не любил, когда при нем начинали говорить о красивом, оттого что ждали его похвалы за сказанное. А Корсаков не любил говорунов, особенно тех, которые умеют изящно и тонко говорить обо всем, что вокруг. Такие люди, как ему казалось, не способны к творчеству, они проговаривают самих себя, а потом делаются завистливыми неудачниками и обязательно литературными критиками.

Корсакову вспомнился забавный случай, когда французский высший свет пригласил на званый обед известного писателя-юмориста. К нему относились с боязнью и острым любопытством. Но весь обед писатель просидел хмуро, уставившись в скатерть, никого не вышучивал, ни на что не злился; все шло насмарку. И только в самом конце обеда произошло то, ради чего все собрались: писатель, обратившись к соседу, попросил: «Передайте мне, пожалуйста, эту прекрасную мелкую соль». И сразу же, после секундного замешательства, все — и гости и

хозяева—стали громко хохотать, считая сказанное остротой. И каждый поэтому смеялся, а вернее — старался смеяться и дольше и громче другого.

...Где-то над озером, порвав тяжелые облака, выглянул острый глаз месяца.

— Можете загадывать на счастье, — предложил Корсаков. — Молодой месяц-то. И слева...

Он обернулся к девушке. Лицо ее сейчас сделалось еще более чеканным, глаза казались длинными и зелеными.

— Хищная вы какая-то,—сказал Корсаков.

— Да нет... Недотепа я.

— Это почему ж так?

— То ляпну что не так, то гляну не так — вот и хожу в девках, никто замуж не берет.

— Понятно, — сказал Корсаков и еще раз поглядел на девушку. — Ну, спокойной вам ночи. Уже пора...

Он пошел к дому, не оглядываясь. Думал: «Как же это неинтересно и плохо, когда не надо ни о чем думать, когда не надо замирать, ждать, надеяться и холодеть от счастья. Просто можно расстаться — и все».

Корсаков попросил Варю, чтобы она постелила ему не в доме, а на сеновале. Здесь, в маленьком сарайчике, который зимой приспосаб-

ливали под баню, пахло морскими снастями. А если зарыться головой в сено, тогда казалось, что окунешься в жаркое лето. Корсаков потянулся, зевнул со стоном, как пес, и начал уговаривать себя, чтобы на ночь не курить, а тем более не пить ни грамма.

Исподволь, словно котенок, который только-только научился играть, по крыше пробежал дождь. Потом наступила тишина, которая продолжалась несколько томительных минут, а потом прямо над головой будто кто порвал рубаху: все высветилось жутким зеленым светом и раскатисто заухало — с неба к земле. И словно кто пригоршню камней бросил на железную крышу сараюшки — это дождь хлынул.

Корсаков приложился ухом к листу белой жести, и в голове забило, затанцевало: дзень-бум, дзень-бум! Но постепенно этот дождь превратился в единый, сплошной поток воды, и стук отдельных капель теперь нельзя было различить.

Корсаков вспомнил фразу Алексея Толстого: «Дождь шумел в водосточных трубах». Какая это прекрасная фраза, и как она точно передает настроение человека, который слышит дождь в водосточных трубах.

Он вспомнил, как они тогда жили на севере Эстонии, в Кясму. Они жили в маленьком домике, дни были жаркими, а по ночам шли ливни,

и шумела вода в старых, давно не крашенных водосточных трубах.

Она тогда еще продолжала кормить их девочку и поэтому была толстая и не ходила на пляж днем, а купалась ранним утром или поздним вечером. Было в ней, купавшейся, что-то особенное — застенчивое и ласковое. Корсакову, когда он смотрел, как она плавала между прибрежных камней, делалось спокойно и хорошо, чересчур хорошо, так как, наверное, и не надо было бы, потому что не зря ведь считают: если счастья много, значит ненадолго оно.

Здесь, в Кясму, он стал постепенно забывать самое трудное, как когда-то он только начинал свою работу. Коробку пельменей тогда приходилось делить на три части, чтобы хватило на завтрак, обед и ужин. Она выдумала себе диету и два голодных дня в неделю, а чтобы убедить Корсакова в том, как хороша эта диета, остальные дни ела стоя, а потом делала утомительную гимнастику и говорила, что это прописал спортивный врач.

Иногда он обижал ее, даже не понимая, что обижает, потому что весь был в своей работе. Она пугалась, словно маленькая девочка, прижимала к щекам длинные пальцы, глаза у нее делались круглыми, а курносый нос торчал воинственно беззащитной кнопкой. Корсаков смеялся и называл ее тогда «противогазиком». Она

тоже смеялась, хотя, видно, ей не очень-то хотелось смеяться.

По вечерам в Кясму, после того как он прекращал работать, они выходили гулять и бродили по одной-единственной улице. Были белые ночи, синие июньские травы и лес смотрелись словно через тончайшую папиросную бумагу. Над заливом, который казался нереальным, волшебным, как из детской сказки, переругиваясь, летали чайки.

Потом Корсаков уезжал на разболтанном старом велосипеде ловить форель в порожистой речушке Перэл. Он никогда не брал больше трех рыбин — с синими блестками вдоль по бокам и с красными искорками возле плавников спины.

А ранним утром, пока Корсаков готовил этюдник, она жарила форели в оливковом масле. Потом рыбы лежали в большом глиняном блюде, красно-прижаристые, на самодельном эстонском столе, и все это напоминало средневековье — особенно громадный очаг, увешанный медными тазами для варенья, похожими на щиты рыцарей.

И каждую ночь шумел дождь в водосточных трубах.

Корсаков, наверное, и не понимал еще тогда, как эта женщина ему нужна. Это обычно понимается либо после разрыва, либо на расстоянии.

Или, быть может, этим даром обладают особо прозорливые, мудрые люди и обязательно спокойные. Но спокойствие — плохой советчик в творчестве, в этой гибельной самоотдаче, когда внимание обращено только к одному делу, которому себя посвящаешь. Самый близкий человек, которого любишь, делается тогда привычным, как ежедневная работа, как стопка бумаги и перо. И отсутствие этого самого близкого человека замечается внезапно, ударом.

Однажды, даже не попрощавшись с ней, Корсаков улетел на юг Таджикистана. Из Куляба он ехал на попутном грузовике в урочище Достеджум. Небо здесь было желтым и недвижным, и в этом недвижном небе стыли орлы. Их было много — поблизости работал мясокомбинат, и орлы привадились к отбросам. Шофер, который вез Корсакова, сказал:

— И орел на мясе достоинство теряет.

Корсаков впервые видел орлов на воле и так близко. Были здесь подорлики с белыми головами и серыми крыльями, были орлы полевые, побольше ростом, а выше всех висели, не двигаясь, красноголовые махины, похожие на грифов. Было жутко из-за того, что орлы недвижно висели в небе и были молчаливы, как возмездие. Они не кричали, словно вороны или сороки, они не ссорились в небе и не мешали друг другу. Здесь все было определено каждому: подорлики

и степняки сразу же уступали место красноголовым, как только с комбината выбрасывали новую партию костей. Красноголовые, не торопясь, подскакивали к костям, словно безногие инвалиды, потерявшие костыль, и прежде чем начать пиршество, долго посматривали по сторонам, и профили их были похожи на старинные литографии абреков.

Шофер сбросил Корсакова возле разбитой ветрами пастушеской времянки и, кивнув головой на отлогое плато предгорий, посоветовал:

— Только быстрей наддавай, а то заплутаешь, когда смеркнется. Тут, говорят, тигр через Вахш с Афганистана ходит.

— Чего же он шландает?

— Космополит. Нет в нем привязанностей.

Корсаков хотел успеть до ночи найти домишко, в котором здесь обосновались ловцы барсов. Он шел по распадку точно, как указал шофер. Смеркалось стремительно, солнце быстро отступало, и не было сумерек, а сразу следом за солнцем навалилась темнота — непроглядная и хищная. Дальше идти было некуда — глаза сломишь. Корсаков наломал чапорраля, в августе сухого и пыльного, зажег костер прямо на тропе и, выбрав место, где не было острых каменьев, лег, вытянувшись сладко и с хрустом. Уснул он сразу. И проснулся сразу. Костер догорал, и судорожные синие языки пламени про-

носились по теплой земле, вздрагивая и замирая. В напряженной тишине Корсаков услыхал тяжелые шаги. Корсаков пружинисто сел, в груди ухнуло вниз, и горло враз пересохло.

— Кто? — шепотом спросил Корсаков и нащупал заледеневшими пальцами острый камень.

Никто ему не ответил, а шаги тяжело ухнули совсем рядом. Корсаков поднялся, зажав в руке камень, и шагнул в темноту. Его неожиданно обдало теплом, и он прямо перед собой увидел два испуганных агатовых глаза. Возле костра стоял стреноженный конь. Корсаков протянул коню руку, и тот облизал ее шершавым языком.

— Сахара у меня, жаль, нет, — сказал Корсаков чужим голосом.

Вернувшись на то место, где по земле пробегали струйки синего пламени, он снова лег и сразу же увидел ее глаза: такие же круглые, и такие же добрые, и такие же красивые, как у лошади. И стало ему тяжело и сладко, потому что он увидел ее всю и понял, какое же это счастье — видеть ночью, в горах, на берегу Вахша женщину, которую любишь. Он прошептал ее имя, и оно показалось ему совершенно особенным и незнакомым. Корсаков затоптал костер и пошел назад по тропе. Он добрался до почты в рассветных сумерках, растолкал телеграфиста и передал ей в Москву громадную телеграмму — бессвязную и нежную.

Корсаков вспомнил, как он в другой раз прилетел из Сибири, а ее не было в городе, и он на последней электричке поехал в деревню. На перроне подмосковной станции было пусто, в метре от платформы ни зги не было видно, только смутно белело пятно закусочной, выкрашенной в голубой цвет, да еще где-то далеко за поселком перемигивались огоньки в дачах. Шумел весенний ливень, было тепло и пахло грибами.

А потом он сидел у нее, в маленьком домике, возле большой отсыревшей печки, которая сейчас чадила, закрывал левый глаз и беспрерывно двигал кончиком носа. Он сидел в ее халате, треснувшем под мышками, в шерстяных красных носках, а в водосточных трубах по-прежнему шумел ливень, и была ночь вокруг, и были только они двое, и было им все понятно друг в друге. Она принесла стакан вишневой настойки (потихоньку слив ее из большой хозяйской бутыли), он грел стакан в пальцах, пил маленькими глотками и рассказывал ей про то, как они с проводником потеряли в Саянах тропу.

Она слушала его, и отсвет пламени метался по ее лицу, словно тревога, а огромные круглые глаза смотрели на него мудро и нежно. Она позволяла Корсакову чувствовать себя рядом с ней большим и сильным, очень умным и многознающим. Хотя «позволяла» — это не совсем

верно. Она была создана именно такой, в ней была древняя, подсознательная мудрость женщины — ранимая мудрость слабого. Такие женщины в жизни бывают либо очень счастливыми, либо несчастными: все зависит от того, кто с ними рядом.

Однажды, после его большого успеха, после суетливой радости признания, узнав о его шальных увлечениях, она сказала ему:

— Ты заметил, как противно есть из склеенной посуды? И еще: когда ты пишешь, ты забываешь все вокруг, и тебе хорошо и счастливо. А я никогда ничего не могу забыть, потому что все вокруг для меня — это ты.

...А вскоре она от него ушла.

Корсаков проснулся, будто от удара тока. Ноги и руки свело бессильной, упругой и колючей слабостью. Он выглянул в оконце: на земле лежал плотный туман. Корсаков спустился по мокрой лесенке вниз, вымыл лицо из бочки, налитой до краев дождевой водой. В воде плавали длинные хвойные иглы. Бочка пахла осенью и ноябрьским лесом — пустым и гулким, каким он бывает за день-два перед тем, как ударяют морозы.

Корсаков выпил топленого молока, сунул за пазуху кусок хлеба и пошел на берег реки, к лодкам. Мимо него в тумане профырчал по уз-

кой колее паровичок, который шел в город. В лесу пели птицы. Корсаков постоял на скользких мостках, пока мимо прошел паровичок, и стало ему вдруг пусто и одиноко, и понял он, что вспомнившееся ему ночью — самое прекрасное, что было в жизни, и что это самое прекрасное никогда больше не вернется, хотя будут еще и синие льды на Плещеевом озере, и желтый фонарь у переезда, и купола церквей в Переславле-Залесском, и Михаил Иванович со своей гибкой, как хлыст, сестрой, и оловянная плотва на дне лодки. Все будет, только никогда больше не будет того, что бывает, когда возле тебя женщина, которую любишь.

Мой гид

Я шел мимо одесского базара. Я любовался тем, как чумазые малыши, растирая по своим рафаэлевским мордашкам сок, уплетали желтосиние персики. Я смотрел, как рыжие кузнецы, матерясь и вытирая веснушчатые руки о кожаные фартуки, подковывали колхозных лошадей. Я слышал смех женщин, привезших на базар домашнюю кровяную колбасу.

Базар шумел, базар гремел веселым довольством и доброй сытостью. Я не видел здесь картин с лебедями и синими девами, вылезающими из тины пруда. Я не слышал пришептываний барышников. Я видел базар изобилия. Я видел за прилавками не пьяных мужиков, а краснощеких, арбузогрудых колхозниц. И я радовался этому базару, и никто не посмеет упрекнуть меня за эту мою радость.

Когда я остановился у кузни, ко мне подошел курчавый голубоглазый мальчик в школьной аккуратной форме и спросил:

— Дядя, вы кого-нибудь ищете?

— Да, — ответил я.

— А кого вы ищете, дядя?

Я не смог бы ему точно объяснить, кого я ищу и что я ищу. Поэтому я ответил:

— Я ищу, где здесь продается мороженое.

Лицо мальчика засветилось при слове «мороженое», и он с невыразимым сожалением спросил меня:

— Ну и где же вы ищете? Вы считаете, мороженое есть в кузнице? Так его там нет.

— Ты думаешь?

— Дядя, — сказал мальчик, — когда я говорю, так я уже не думаю. Когда я говорю, тогда я знаю.

Я потрепал его по африканским жестким кудрям. Он улыбнулся мне ртом, в котором зубы были разбросаны, как кукурузные зерна, но только рукой сильно подвыпившего сеятеля.

— Вы не одессит, — сказал мальчик, все так же ослепительно улыбаясь, — и вы даже не человек с Украины. О, у меня хороший глаз на приезжих! Может, показать вам наш город? У меня есть немного свободного времени.

— Покажи, — попросил я, — буду тебе благодарен.

— Ах, дядя, мы же не дипломаты, к чему вы так говорите!

Мы гуляли по городу часа три. Мой курчавый гид говорил так:

— Что я вам могу объяснить за дюка Ри-

шелье? А ничего! Зачем говорить за дюка, когда о нем все сказали мушкетеры? И за Пушкина я вам тоже ничего не буду говорить. Я вам только напомню, что уж если кто и любил Одессу, так это Пушкин. И что я расхваливаю Одессу! — вдруг спохватился Витька. — Хорошенькое дело, я расхваливаю Одессу! У вас есть глаза — так смотрите!

Мы стояли на набережной и смотрели на порт, где поворачивали свои цыплячьи, жалкие пен многотонные портальные краны. Мы смотрели на корабли, стоявшие на рейде. Мы смотрели на зеленое море, на белые домики и на синее солнце.

— Дядя, — потянул меня Витька за руку,— пойдемте, дядя, я свожу вас в Музей обороны. Там есть пистолеты в стендах.

— Ты думаешь, это очень интересно — пистолеты в стендах?

— Дядя, если вам выпало счастье воевать, так мне этого счастья не выпало.

— Ты убежден, что воевать — это счастье?

— Когда пистолет, тогда всегда счастье, — убежденно сказал Витька, и мы пошли с ним в музей.

Он ходил по холодным залам и завороженно глядел на оружие. Потом мы снова вышли на звенящую, солнечную одесскую улицу, и он спросил:

— Ну, как вам город?

— Прекрасный город.

— Вы рано сказали, что это прекрасный город, дядя. Если вы не посмотрите кино Гриши Поженяна «Жажда», вы ничего не поймете за Одессу, дядя.

И мы пошли смотреть кино Гриши Поженяна «Жажда». Пока мы стояли в очереди за билетами, Витька говорил:

— Я вам скажу честно, дядя, я пока еще нигде не был, кроме Одессы, хотя могу сплавать в Батуми, когда захочу, потому что мой брат работает на «Победе» коком. А я не был в Батуми. Вы спросите: «Почему?» И я отвечу так: «Не хочу уезжать из Одессы даже на день». И если мне говорят, что в Батуми можно купаться в декабре, так, вы думаете, это сообщение делает меня несчастным? Нет. Не делает меня несчастным, хотя я люблю купаться. А вы любите купаться?

— Люблю.

— Вот видите! Все люди любят купаться, когда отдыхают. А когда есть школа, тогда не до купанья, так ведь?

— Да,—согласился я.—Ты, конечно, прав.

— Дядя, — сказал Витька, когда мы вышли из кинотеатра, — только скажите мне честно: вы советский гражданин?

— Советский. А ты что забеспокоился?

— Пограничный город, — пояснил Витька, — все-таки опасно так откровенничать, как я. Мой дедушка говорит, что пока Эрхард в Западной Германии работает президентом, нельзя быть очень-то откровенным. А скажите, дядя, вы, случаем, не торговый моряк?

— Нет,—признался я,—к сожалению, нет.

— Ай-яй-яй! — покачал головой Витька. — А мне почему-то показалось, что у вас есть обменные марки.

— И обменных марок у меня нет.

— Я понимаю,— вздохнул Витька,— ну что же, мне пора.

Этот разговор происходил рядом с мороженщицей, и Витька, задавая мне вопросы, то и дело поглядывал в ее сторону.

Я подошел к мороженщице и купил самое большое мороженое, какое только было. Витька вожделенно развернул его и начал аккуратно облизывать шоколад острым языком, сложенным в трубочку.

— Дядя, — сказал он, — я понял, что вы добрый человек, дядя. У вас есть бумага и ручка?

— Нет.

— Тогда подождите меня здесь минут десять, я очень прошу вас.

Витька юркнул в подворотню. Я ждал его минут восемь.

Он вернулся запыхавшийся. В руках он держал пузатый портфель. Он вытащил оттуда ручку и лист бумаги, вырванный из тетради.

— Дядя, — попросил он, — напишите в школу, что я помогал больной старушке добраться до дому.

— Ты пропустил уроки?

— Дядя, — ответил Витька, — мне больно отвечать на ваш вопрос.

Я написал ему записку, и он ушел, напевая что-то веселое.

«В горах мое сердце...»

В Закопане я приехал поздней ночью. Шел снег, очень крупный, казавшийся от этого декоративным. Все вокруг: маленькие коттеджи, кафе у станции, возницы в шляпах, лошади, разряженные, как модницы, — все это тоже казалось декоративным, сделанным специально для тех, кто приезжает сюда кататься на лыжах.

С этим же последним поездом приехали спортсмены. Они сели в автобус своей базы и укатили в горы. Я остался один на гулкой привокзальной площади. Далеко внизу, в городе, тонко, по-ледяному звонили часы большой ратуши.

Я подошел к старику-вознице и спросил:

— Вы отвезете меня в пансионат?

— Прошу пана. — Возница набросил на меня пахучую овечью полость, сел на облучок и, свесив ноги в белых фетровых брюках, попросил: — Пойдем, лошадь.

Лошадь пошла. Зазвенели бубенцы — так же ледяно, как и часы на большой ратуше.

— Пан хочет быстро ехать?

— Нет, если можно — не быстро.

— Можно. Быстро ли, медленно — тариф один.

— Вы хорошо говорите по-русски.

— Я же старый поляк.

— Ну, полно... Разве вы старый?

— Очень. Пан хочет разговаривать или лучше ехать молча?

— Как вам угодно.

— О, пан бардзо деликатный. Я, пожалуй, буду тихо петь.

Возница начал мурлыкать песню. Голос у него был хриплый и очень низкий.

Вокруг — и высоко вверху и далеко-далеко внизу — перемигивались огоньки. По ним я угадывал очертания гор. Мне казалось, что я слышал, как за этими перемигиваниями далеких огоньков в горах пряталась музыка. Дорога была накатанной, сани шли легко. По-прежнему падал крупный снег. На ветвях лежали белые мягкие глыбы. Дорога змеилась вниз, среди огромных мягких сугробов. Я подумал, что хотя Новый год уже наступил, дед-мороз с мешком, в котором спрятаны подарки, еще ходит где-то здесь и поет тихую песню, совсем как мой возница.

Я долго звонил в дверь, а потом было решил искать другой пансионат, но возница уже пел

песню совсем далеко, и бубенцы звенели чуть слышно.

Я стоял на крыльце и слышал, как все вокруг спало. Даже снег кончился, будто устал и тоже уснул, улегшись на землю. Выглянула луна, и сразу же стали видны горы вокруг. Они были очень высоки и зубчаты. Снег на горах отличался от снега в долине. Там он был словно электрическим, подсвеченным изнутри неживым синим светом.

— Кто есть?

— Откройте, пожалуйста.

Дверь открылась, и на меня пахнуло теплом, свеженспеченным хлебом и чуть подгорелым кофе.

— Добрый вечер. Что пан хочет? — спросила женщина с седыми буклями.

— Мне нужна комната.

— Пан один?

— Да.

— Я покажу пану его аппартамент.

Мы поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж. Женщина отворила маленькую дверь, и я вошел в крохотную комнатку. Лунный свет делал ее голубой. Из окна были видны горы и небо.

— Если пан закаленный, то можно открыть фортку.

— Я открою.

— Прошу вниз через пять минут, на кофе.

Я ответил по-польски:

— Дзенькую бардзо, пани...

Женщина улыбнулась строгой учительской улыбкой, сделала книксен и вышла.

Я открыл окно и сразу же услыхал холодный перезвон часов на ратуше. Воздух в комнате стал голубым. Нагретый за день горным солнцем, он хранил в себе запахи лета.

Огоньки в горах уже не перемигивались. Над Закопане лежала тишина, и только где-то далеко звенели бубенцы.

Когда я лег в холодную постель, то вдруг почувствовал себя так, как однажды дома. Я сидел ночью один и работал. А передо мной стоял черный телефонный аппарат. Я позвонил приятелю и спросил:

— Ты знаешь мой новый номер?

— Нет.

— Запиши.

Он записал.

— Пока, — сказал я и положил трубку. А через минуту он позвонил мне и спросил:

— Добрый вечер, старина, как поживаешь?

— Спасибо. Уже лучше. А ты?

— А я, как всегда, хорошо. Спи.

Мне тогда стало спокойно и здорово после его звонка. А сейчас я лежал, смотрел на горы и пытался уснуть. В дверь тихо постучали.

— Доброй ночи, пан...

— Доброй ночи, пани, — ответил я, улыбнувшись, и сразу же уснул.

Конца нет, есть только начало. А начало всех начал — утро. А начало утра — солнце. Оно и разбудило меня — стремительное и яркое. Зимой в горах солнце кажется синим. Буйный солнечный свет ворвался в мою комнату, резанул глаза отражением от зеркала, высветил красной гранью стакан с водой, стоявший на столике, и замер в стекляшках люстры — в каждой своим особым цветом.

Солнце резвилось в моей комнате весело, как щенок. Я лежал и вспоминал варшавскую клинику. Там были новорожденные с пороком сердца. Матери смотрели на них с нежностью и спокойствием. А врач, который водил меня по палатам, тихо говорил:

— Видите во-он ту женщину? Ее сын умрет через пять дней. А эта девочка умрет, по-видимому, завтра вечером.

Когда мы пришли в его кабинет, он снял халат и сказал:

— Вот так-то, мой дорогой...

Я спросил:

— Это было всегда?

Он ответил:

— Да.

— И это всегда будет?

— Нет. Только до тех пор, пока в мире есть война. По-моему, болезни сердца происходят от страха.

Канатная дорога вела в горы. В вагончик набилось человек сорок. Все были с лыжами, в толстых джемперах и шапочках с детскими помпончиками. Лица у людей были черные и обветренные от резкого зимнего загара.

— Вот здесь он прыгнул, — объяснял паренек своей подруге. — Они позвонили наверх, и эсэсовцы ждали его там. А он увидел их куртки. Он как раз в это время проезжал над ущельем. Видишь, тут ведь метров двести, не меньше. Он успел надеть лыжи и прыгнул с вагончика в ущелье, а там по склону ушел вниз. Они стреляли в него из автоматов, но он все равно ушел от них.

— Ты бы мог прыгнуть так же? — строго спросила девушка.

Парень еще раз взглянул на острые, бритвенные вершины, проплывавшие под нами, на крохотную полоску снега, которая шла между камней, на скалы, которые громоздились еще ниже неприступной стеной и которые ему в случае вериняка пришлось бы огибать на всем ходу, и ответил:

— Помоги мне открыть дверь.

Глаза у девушки сделались испуганными. Она сказала:

— Какой ты...

И положила свою руку на огромное плечо парня.

На самой вершине польских Татр работает обсерватория. Лыжники стоят под телескопами и прилаживают крепления. Ученые улыбаются им, а потом снова приникают к телескопам, чтобы смотреть на звезды, не видные простым глазом. Один за другим лыжники съезжают вниз. Они космичны в своей скорости. Вот рядом был человек, мгновение — и нет его, только далеко внизу видна крохотная красная или голубая точка на ослепительном полотне снега.

Через пять минут на площадке у обсерватории уже никого не было. Ученые застыли около своих телескопов. Тишина. Только ветер иногда налетал порывами. Прозвенит, невидимый, и унесется дальше.

— Не хочет ли пан сфотографироваться?

Оборачиваюсь. Рядом со мной стоит высокий парень в овчинном полушубке. На груди у него два аппарата. Рядом с ним—огромный сенбернар.

— Я дам вам собаку и сфотографирую вас на память о Татрах. Собака — спасатель. Я тоже спасатель и еще немножко снимаю приезжих.

Парень кивает головой на медный колокол, укрепленный на вершине.

— Если будет буран и не все лыжники уйдут вниз, я буду звонить в колокол, чтобы они слышали звуки и шли ко мне. А пес будет бегать к ним и тащить их, если они устанут или перепугаются.

— Можно мне позвонить в колокол?

— Так ведь нет бурана...

— Я понимаю...

— О, ясно! Пан хочет испробовать, да? Пожалуйста, прошу бардзо, я не понял вас сначала. Только не очень громко, прошу вас.

— Хорошо, я тихонько.

Я подошел к колоколу и потянул за толстую просмоленную веревку, пахнувшую кораблем. «Дзин-н-нь», — поплыл над горами тяжелый, протяжный звук. Пес стал вырываться из рук хозяина.

— Это ничего, — сказал парень, — вы его не бойтесь.

И отпустил пса. Тот сначала завертелся на месте, а потом бросился вниз, следом за лыжниками. Белый, он исчез на снегу через минуту.

— Может, позвонить еще раз, чтобы он вернулся?

— Он тогда притащит очень сердитого лыжника, — усмехнулся парень. — Он ни за что не вернется один. Для нас бой колокола —

просто сигнал, для него — труд. Сейчас я его верну.

Парень крикнул, прикрыв рот ладонями, как рупором:

— Джо! Э, Джо!

Пес вернулся так же быстро, как и исчез. Он посмотрел на парня большими грустными глазами и сел, поскуливая.

— Все в порядке, — сказал парень. — Не волнуйся. Ты же видишь, бурана нет, мы просто так, шутили...

Парень дал псу кусок сахару и потрепал его по густой серой шерсти.

— Когда он отдохнет, вы можете позвонить в колокол еще раз.

— Нет, больше я не буду звонить в колокол.

— Я, пожалуй, сфотографирую вас на фоне колокола с псом в обнимку.

— Да?

— Да. С псом выходит очень героично. Это нравится панёнкам.

— Вы думаете, героично?

— О да!

— Давайте героично.

— А можно еще и лирично. Одна ваша лыжница говорила, что советский поэт писал стихи про собаку, которая дает лапу, на дружбу.

— Это Есенин.

— Я забыл, она часто называла его имя, но я отчего-то забыл. А вообще очень хорошо. когда писатели пишут стихи про собак. Я снимал лирично — это когда пес дает лапу, а вы гладите его по голове.

— Нет, давайте лучше героично.

— Ладно. Э, Джо, иди до пана.

Пес подошел ко мне и ткнулся огромной мордой в грудь.

— Давай обнимемся, Джо, — сказал я.

Пес порывисто вздохнул, посмотрел на хозяина и сел. Я обнял его. Парень несколько раз щелкнул фотоаппаратом. Он крикнул:

— Будет бардзо героично, пан! Оставьте адрес, я вышлю авиапочтой ваш портрет.

— Спасибо.

— Э... Не стоит...

— Вам тут не скучно?

— Тут горы, как же мне может быть скучно? Скучно может быть только в долинах...

В Закопане есть еще одна дорога в горы. Только это не вагончик, который болтается над бездонными пропастями, а плавный фуникулер. Здесь, в фуникулере, нет таких сильных парней и девушек. Здесь все больше хрупкие женщины с маленькими детьми. Женщины поднимаются в горы с пледами и пляжными сумочка-

ми. Малыши одеты, как настоящие лыжники. Они в толстых джемперах, в тонких брючках, туго обтягивающих ноги, и в грубых бутсах, точно таких, как у взрослых горнолыжников.

Наверху в шезлонгах, раздевшись, лежат родители. Они загорают. Ноги укутаны пледами, а носы прикрыты папиросной бумажкой.

Дети в это время стоят в загончике рядом с длинным, пожилым, очень сильным тренером. Он в легкой рубашке, шея — бронзовая, литая, щеки прорезаны двумя продольными морщинами, глаза спрятаны под толстыми бровями, выгоревшими на солнце до седины.

Он подталкивает трехлетнего малыша, тот едет с пологой горки, стараясь во что бы то ни стало удержать равновесие и не упасть, его шатает из стороны в сторону, скорость все прибавляется, мальчуган вот-вот шлепнется, а тренер негромко приговаривает:

— Смело! Смело! Смело!

Малыш все-таки падает. Тренер ждет, пока тот поднимется, по-дружески подмигивает своему ученику: с кем, мол, не бывает, и как заклинание повторяет снова:

— Смело, малыш, смело!

И снова мальчишка катится вниз, падает, поднимается, смотрит на тренера. Снова тот подружески подмигивает ему и повторяет единственное свое «смело!».

А когда мальчишка съехал вниз и остановился, сияющий и гордый, тренер улыбнулся и сказал:

— Молодец.

Он отъехал к «медведю» — человеку, одетому в медвежью шкуру, с оскаленной пастью, с коричневыми стеклянными глазами, и попросил:

— У тебя остались еще леденцы, дай мне их, пожалуйста.

— Ты же знаешь, что я не могу без них.

— Я очень прошу тебя.

— Но тогда я закурю...

— Ничего с тобой не сделается. Потерпи, я привезу тебе леденцов через час.

— Хочешь угостить какую-нибудь пани?

— На этот раз пана.

«Медведь» долго залезал в карман, а потом, выпростав из-под желтых, скрюченных когтей загорелую руку, сказал:

— Вот...

Тренер вернулся на площадку, протянул леденцы мальчишке и сказал:

— На, держи.

— Спасибо.

— Ты хорошо ездишь, я доволен тобой.

— Я могу съехать еще раз.

— Знаю.

— Можно?

— Ступай.

И малыш, зажав в руке леденцы, ринулся вниз, вытянув вперед голову и отведя назад тоненькие птичьи плечики.

Потом съезжала девчушка лет пяти. Она упала и заплакала. Тренер подъехал к ней, протянул бамбуковую палку, девочка уцепилась за нее, поднялась и в слезах покатилась вниз, по-прежнему не выпуская из рук бамбуковую палку тренера. Так они спустились вниз — бок о бок.

— Поедешь еще раз? — спросил тренер.

— С вами.

— Нет.

— Одна?

— Конечно.

Девочка зажмурилась и покачала головой.

— Боишься?

— Да.

— А чего ты боишься?

— Я боюсь снова упасть.

— Тебе было больно, когда ты упала?

Девочка пощупала коленку и улыбнулась сквозь слезы.

— Нет, — сказала она, — мне не было больно.

— Вот видишь...

Девочка оттолкнулась палками и покатилась вниз. Тренер закурил, бросил спичку и стал негромко приговаривать:

— Смело! Смело! Смело!

И мне вдруг очень захотелось, чтобы сквозь всю жизнь шел вот такой же спокойный тренер и повторял свое слово. Оно очень нужно и старикам и детям.

Вечер пришел в Закопане неожиданно и красиво. Солнце разбилось о трезубец гор, растеклось красной закатной полосой по вершинам, и небо сразу же сделалось пустым и безлюдным, словно эвакуированный город.

Солнце только-только погасло, а уже над ратушей повис белый пятак луны. Улицы стали декоративными, точно такими же, как вчера. Замигали огоньки в горах, зазвенели бубенцы, и тишина стала близкой и всеобъемлющей. В холодных, голубых витринах стояли поджарые манекены, одетые в красные лыжные костюмы. Крыши домов казались обтянутыми тонким целлофаном: днем солнце плавит снег, а ночью подмораживает, затягивает хрупким ледком. Санная дорога светилась ослепительными стальными рельсами, выбитыми в снегу полозьями. Дорога уходила в горы. Там спал пес Джо, а его хозяин, наверное, сидел у печки и проявлял снимки — и лиричные и героичные, все подряд.

В ресторане было душно и весело. Джаз играл песенку, а люди в джемперах и спортивных брюках танцевали и пели. Свободных столиков в зале не было. Я пошел к стойке и попросил

коньяку. Бармен плеснул в пузатую темную рюмку немного коньяку, я погрел рюмку в ладонях и ощутил острый запах чернослива.

— Старый коньяк, — сказал бармен, — и очень крепкий. Хотите немного воды?

— Да. И лимон, пожалуйста.

— Боюсь, что лимон все испортит.

— Тогда не надо.

Бармен отошел, гремя деревянной ногой. Толстая певица, стриженная по-детски коротко, пела, закрыв глаза:

Счастлив ли ты,
Счастлива ли я,
Скажи мне,
Аве
Мария?!

Бармен заметил:

— Хорошая песня, а?

— Мне нравится.

За стойкой никого не было, потому что все ушли танцевать. Бармен присел на высокий стул, закурил и грустно сказал:

— Я ведь раньше работал медведем.

— Как?

— Ну, понимаете, я ходил в медвежьей шкуре и звонил в колокольчик. Это приятно, когда по городу ходят ручные медведи и звонят в колокольчики, не так ли?

— Нравится детям...

— Почему только детям?

— Ну все-таки...

— О нет, поверьте мне, это нравится и взрослым тоже. Только дети более искренни в выражении чувств. Мне, честно говоря, хочется всерьез поиграть в прятки, например, да только детишки не берут из-за ноги, а взрослых никак не могу уговорить сыграть.

Он капнул себе немного вина, выпил, затушил сигарету и, посмотрев в зал, усмехнулся.

— Раньше я ненавидел тех, кто в смокингах. Знаете, капитализм и все такое прочее. А вон, видите, парень в смокинге?

— Да.

— Это мой ученик. Он теперь начальник спортивной школы в горах. Вы же понимаете, ему никак нельзя без смокинга, этому франту.

— Вы были лыжником?

— Я был чемпионом. И немножечко подрабатывал медведем, я говорил вам. А когда я уходил от эсэсовцев прямо из вагончика подвесной дороги, меня подстрелили. Ну, а в отряде пришлось оттяпать ногу, потому что не было врача, а я шел с дырявой ногой километров сорок слаломом. Еще коньяку?

— Да.

В зал вошел высокий парень — спасатель с вершины. Он подошел к стойке, поцеловал бармена и сказал:

— Добрый вечер, пап. Ну, как ты?

— Я хорошо.

— В горах тихо, я решил спуститься к тебе на минутку.

— Спасибо. Хочешь выпить?

— Пожалуй, нет, мне ведь надо обратно. — Парень заметил меня и сказал: — О пан, я проявил пленку, вы получились бардзо героичный.

Певица кончила петь:

Счастлив ли ты,
Счастлива ли я,
Скажи мне,
Аве
Мария?!

К стойке подошел парень в смокинге — начальник спортивной школы. Смокинг сидел на нем, как на министре. Тугой воротничок врезался в бронзовую шею. Туфли его были вызывающе остроносы. Спасатель легонько наступил ему на ногу своей громадной бутсой и подмигнул:

— У тебя ничего девушка, а?

— Будь спокоен.

— Я завидую.

— Это черное чувство абсолютно чуждо духу нашей молодежи.

— И тем не менее.

— Но, но! Тише на спуске! Не стреляй в нее глазами.

— Она придет ко мне на вершину.

— Тогда ты съедешь оттуда на заднице вместе с Джо.

— Ого!

— Да, да! Пан Юзеф, дайте шоколадку для моей дамы.

Бармен протянул начальнику школы шоколадку, потрепал его по щеке и сказал:

— Смело, сынок, смело.

Моя хозяйка угостила меня кофе и пожелала спокойной ночи. Я лег в ледяную кровать. На ратуше били часы. В комнате плавал голубой свет луны. Небо было чистое, подрезанное белыми хрупкими вершинами гор. Под окном проехал возница, и еще долго в воздухе висел тугой перезвон бубенцов. Я вспомнил бармена. Когда я уходил, он сказал:

— Э, сынок... Не надо никогда ничего рассусоливать. Пойми: жизнь все равно должна быть радостью...

Казнь атамана

Растянувшись на многие десятки верст по измученным дорогам России, армия Дулова отступала под натиском красных войск все дальше и дальше к монгольской границе. По ночам в городах, где останавливался штаб атамана, сухо пощелкивали выстрелы: шли расстрелы большевиков — вместе с семьями.

Атаман ночами спал плохо, его мучили дурные сновидения. От этого ломило затылок и — приступами — начинались легкие головокружения. Он помногу курил; зажигал свечу и, поднявшись на локти, перечитывал Достоевского. Много и трудно плакал. Шептал нежные слова о России, считал выстрелы. Если было мало, меньше тридцати — гневался и утром страдал мигренью. Выговаривал своим контрразведчикам:

— Тылы, тылы-с оставляем, господа, а вы милосердствуете, словно барышни. Грех, знаю, что грех. Да — свят грех прощен будет. И не нам зачтется — потомству... А оно благодарно будет отцам своим.

Контрразведчики, усталые люди с красными от бессонницы глазами, молча уходили из кабинета атамана. В такие дни расстрелы продолжались круглые сутки. Тогда в городе воцарялся молчаливый ужас. Только была слышна далекая канонада, да куры вздымались в небо белоперыми облачками и ошалело кричали.

Дулов, сидя за столом, быстро считал выстрелы, вроде бы успокаивался наемного — мигрень отходила и, откушав черного чая с молоком без сахара, он отправлялся на дневной отдых. Спал Дулов, как ребенок — на боку, подложив под щеку сложенную щепоткой ладонь. Руки у него были маленькие, красивые, только вот с рыжими веснушками и белыми стоячими волосками.

Снился в такие дни ему один и тот же сон — он даже в дневнике это записывал — будто дождь хлещет, тепло, по полю бегают черные быки, но только поле не черноземное, а выложенное иконами и лики святых белым мелком эдак аккуратненько крест-накрест зачеркнуты. А потом быки эти вроде бы и не быками делаются, а все на одно лицо: как аптекарь Ценципер. Его Дулов сам вешал на Покров день. Скучный вышел праздник, веселья не было, ну и решили пошутить. Вешал он Ценципера долго и не потому, что не умел, а оттого, что аптекарь кричал уж больно забавно.

...В одном из первых советских военных справочников об атамане Дулове сказано, что он, полковник генштаба и атаман казачьего войска, в феврале 1921 года убит сослуживцами в своем штабе.

Сейчас пришло время рассказать правду о том, как закончил свою жизнь кровавый атаман.

...В середине двадцатого года в Париже было заметно особое оживление. Здесь, в центре антисоветской Антанты, был закончен — по своим размахам грандиозный — план уничтожения ленинской Совдепии. Веревочка, столько раз рвавшаяся, была, наконец, связана в петлю. Опытные журналисты и скептики-политики считали, что «карта» господина Ленина бита и дни республики сочтены. Войска белой Польши, барона Унгерна, бандиты Антонова, атамана Дулова, генерала Молчанова, атамана Семенова, окружавшие Россию по всем границам, оснащенные новеньким, не стрелянным еще оружием, были готовы выступить сразу — единым мощным кулаком, стремительным, как выстрел. Каждый из компонентов этого страшного антисоветского кольца был смертельно опасен для жизни молодой республики. Кто больше опасен, кто меньше—говорить не приходилось, но роль, которая отводилась Дулову, была особая: его армия должна была пойти через казахские сте-

ии к Уралу, отрезав таким образом Дальний Восток с одной стороны и Среднюю Азию — с другой. Главное — перерезать коммуникации, об остальном позаботятся японцы, американцы, Семенов и Молчанов с Унгерном на Дальнем Востоке, а в Средней Азии — англичане: они в азиатских делах политики тонкие, умелые.

И вот в дни, когда шла последняя подготовка к броску, полпред ВЧК в Средней Азии, соратник Дзержинского Петерс санкционировал специальную разведывательную операцию: чекисты должны были в короткий срок выяснить все, относящееся к потенциальной мощи Дулова и к срокам возможного выступления его против Советской России.

Ночью 23 ноября 1920 года в кабинете председателя Джеркутского ЧК Суворина сидел начальник здешней милиции Касемхан Чарышев. Чарышев кругл лицом, улыбчив, прямо бы и ребенок, если б не усы, очень силен, будто влит в английский френч, ноги в коленях узелком, кривоватые — сразу видно наездника, сапоги мягкие, высокие, туго забиравшие сильные икры. Внешностью он был чисто русский, хоть и татарин. Говорил, чуть грассируя — классическую русскую гимназию кончил блестяще. Зная по-уйгурски, по-казахски, по-узбекски, по-арабски, мог и по-французски объясниться.

Суворин и Чарышев сидели без свечей. В окно лез белый окаянный свет холодного солнца — так здесь называют луну. Рыжие звезды зло перемигивались в близком небе.

Говорили чекисты тихо, приблизив друг к другу головы. Разошлись, когда лунный свет сделался мягким, — дело шло к рассвету.

Утром в своем кабинете Чарышев не показался: на облупленной, давно не крашенной стене милиции (олифы откуда достанешь?) появился приказ, в котором говорилось, что Чарышев считается в отпуске по случаю болезни своей тети Бюль-бюль Нары. Тетя у Касемхана действительно была и вроде бы даже прихварывала — это все правда. Но только никто не знал, что тетя начальника милиции живет в самом центре антисоветского дуловского гнезда, там, где обосновалась ставка атамана.

Вот туда-то и приехал Чарышев под утро: на хорошем коне от красных позиций четыре часа ходу. Уже рассвело, но город был пустой — муэдзины еще не возвестили утро. А когда прокричали переливно с минаретов святое: «О бисмилла рахмауль рахим!» — сразу, словно по волшебству, как в старых сказках, открылись ворота, и, смешавшись с разноязыкой толпой торговцев, караван-баши, контрабандистов и нищих, Чарышев въехал в город.

Тетя испугалась племянника и хотела было

схоронить его в дальних комнатах, но он, побрившись, вымылся ледяной водой до пояса, отфыркиваясь словно конь, натерся докрасна полотенцем, чтобы прогнать сон, и, начистив сапоги, отправился на базар — ленивой кривоватой походочкой своей, пощелкивая нагайкой по голенищу сапога.

Первым, кого он увидел, был бывший джеркутский городской голова — господин Биловский. Поначалу он вроде тети — испугался. А Чарышев вместо того, чтобы бежать от него, — к нему, с улыбочкой, руки тянет, «мон шер» говорит, обнимает, словно бы своего.

— Вы!?

— Я.

— Вы здесь!?

— А кричать-то зачем? — удивился Чарышев. — Кричать не надо.

Он взял Биловского под руку, сильно взял, будто капканом стянул. Повел к базару. Наклонившись, зашептал:

— Нам лучше тихо говорить. Я ведь сюда не зря. Сады у моего папа реквизировали. Вот я к вам и подался — посмотреть, что здесь у вас и к чему.

У отца Чарышева были сады — это правда. Был он человеком зажиточным — это тоже правда. Биловский это знал. Поэтому он улыбнулся.

— Господи, вот счастье-то какое, — сказал он, — а я уж плохое подумал.

— О плохом думать — пищеварение портить.

Биловский засмеялся и, не удержавшись, пошел костить большевиков и в бога, и в душу, и в мать. Но — с веселья это: если уж от большевиков начальник милиции стоном стонет, значит месяц, от силы два и — в Москву!

Биловский привел Чарышева к себе в каморку, где густо пахло клопами и младенцем. Здесь Чарышев и признался городскому голове, что у него две сотни вооруженных милиционеров в уезде — только и ждут приказа резать большевиков. Биловский еще больше заволновался, стал бегать по комнатке, а потом сказал:

— Да вам! Да нам! Да это бог знает как хорошо!

Вечером он свел Чарышева с попом Ионой. Поп был еще и не старик, но — старый. Лицо морщинистое, трезвое, сухое. Глаза шальные с белизной по краям черных зрачков.

«Истеричка,— подумал Чарышев,— это хорошо. Такие только себе и верят».

Поздоровавшись с Ионой, Чарышев отошел в сторонку и сделал омовение — вроде бы незаметно для Ионы, а на самом деле именно для него: от погани христианской, вроде бы, освободиться, коран Христа не любит.

— А ну, смотри на меня, — сказал Иона, — смотри близко.

Он заглянул в глаза Касемхану и замер.

«Желудком поп страдает, — подумал Чарышев, — изо рта несет».

— Женат? — спросил Иона, не отрывая взгляда от Чарышева.

— Да.

— Дети есть?

— Сын.

— Любишь?

Чарышев поморщился. Биловский сразу же запричитал:

— Им-с нельзя не любить. У них вера такая. Сын для них, как для нас, простите, господь.

Иона досадливо посмотрел на Биловского, поморщился, потом улыбнулся, отодвинулся от Чарышева, погладил лоб девичьей ладонью.

— Я глазам верю, — сказал он, — вы — наш. Если будете помогать — мы вас не забудем никогда. Поезжайте-ка завтра в Суйран вечерком, зайдите в казарму и спросите отца Иону. Удачу, удачу я чувствую, удачу, — оборвал себя. Лицо его забило тиком.

«Э, — подумал Чарышев, — не желудок у него болен: сифилис, видно, у него. Нелеченый. Желтый, весь мученый, а горячий. Они все такие».

Ушел отец Иона быстро, пружинисто, широким шагом офицера, путаясь в рясе.

Суйран — город небольшой. Здесь-то и обосновался со своим штабом Дулов, перебравшись из тылов, чтобы быть в непосредственной близости от войск, расположенных вдоль красных позиций.

Сюда, в Суйран, приехал Чарышев. Идти в казарму он не торопился. Завел свою лошадь в караван-сарай «Лянга», спросил чаю, сидел за чашкой долго, хмурясь, прикидывал что к чему. Потом отправился прогуляться по городу. В центре обернулся, когда его кто-то окликнул по-татарски. Возле казармы стоял друг детства, вместе в гимназии учились, полковник Аблаихан. Обнялись, поцеловались. Никакие отговорки не помогли — Аблаихан утащил в чайхану, заказал баранью ногу, много коньяку и — для очистки совести — немного шербета. Чарышев набросился на еду. Жир капал на крепкий подбородок и от этого тот густо блестел. Пил он тоже много и жадно — все больше коньяк, а шербет — нет-нет да и прольет на скатерть. Аблаихан смотрел на Чарышева умно и добро. Ел он мало, лениво, пил шербет, курил американские «лаки страйк» из большой железной коробки, часто откидывался на подушки и, прищурившись, ковырял в зубах зубочисткой с

перламутровым наконечником. Говорил распевно, ни о чем, а так — о старом, о гимназии, про то, как порох физику в папиросы засыпали.

Потом он заговорил о женщинах. Чарышев загорелся, стал громко смеяться и говорить непристойности. Аблаихан похмыкивал, тянул шербет, а потом ненароком бросил:

— А я ведь при Дулове переводчиком состою.

Чарышев разлил коньяк, полез к нему с объятиями.

— Да атаман меня сейчас целовать будет,— сказал он. — Аблаихан, дорогой, я тебе как брату, как мусульманину говорю — нас счастье свело.

Потом как-то внезапно отрезвел и спросил:

— А ты правду говоришь?

— Ты ж мне друг.

— Но ты знаешь, что я...

— Знаю. Пошли.

— Я ведь вино пил... Нехорошо так к атаману идти.

— А кто не пьет вина вовек? — спросил Аблаихан стихом из Хайяма.

— Тот — никчемный человек, — ответил Чарышев второй строчкой.

Аблаихан снова долго посмотрел на Чарышева, чуть сощурился, будто приценяясь, а по-

том встал, бросил чайханщику деньги, и, пропустив Чарышева вперед, пошел из темноты — на улицу, всю в капели и звоне. Ночью прошла шальная ростепель, и густо запахло весной, а была еще зима.

Как и всякий человек, совершивший много преступлений, Дулов мучительно боялся людей. Когда ветер развевал портьеру, Дулов вздрагивал и хватался за кобуру. Когда к нему входил с докладом офицер, Дулов впивался ногтями в ладонь — так ему хотелось похлопать того по заднему карману брюк: нет ли там браунинга с разрывным патроном в стволе. Чтобы оправдать свой страх подвижничеством, он наизусть читал «Годунова» и все больше то место, где «мальчики кровавые в глазах». Страх в нем накапливался постепенно, с каждым новым убийством, с каждым новым преступлением. И пропорционально этому страху росла его личная охрана. В городе Суйран он занимал внутреннюю крепость. В воротах стояли часовые. В его доме стоял часовой у двери—раз, в приемной—два, всегда рядом с ним адъютант — три, а в маленькой комнатке при кабинете — еще шесть казаков.

Где стояли казаки, какая дверь куда и как открывалась, сфотографировала память Чарышева.

...Дулов так открыто, как Иона и Аблаихан,

в глаза не глядел — поздоровался сдержанно, кивнул, глядя исподлобья, быстро и тихо сказал Аблаихану:

— Спасибо тебе, князь. Иди.

Аблаихан вышел. Дулов прошелся по мягкому цветастому ковру, остановился у окна — спиной к Чарышеву. Широко расставив руки, упершись ладонями в раму. Стоял у окна мгновение, потом — рывком — обернулся и заговорил:

— Я — человек добрый, Касемхан, у меня по ночам сердце болит, будто камень давит его. А что давит сердце, как не жалость и не скорбь? Знаю — говорят про меня разное. Бог с ними, не о себе думаю, крест — он тяжел, он спину гнет, он — как вериги, на мучительство дан. Могу я без него-то? Ты смотри — молод я, красив, меня бабы любят. Могу и без него! А — не могу. Понимаешь меня, Касемхан?

— Да, атаман.

— Кто меня понял, тот со мной пойдет. Кто не понял — бог с ним. Но кто понял и предал — на дне моря найду, сам казню. Прости, господь, прогрешения мои! Понимаешь меня?

— Да, атаман.

— Ну, со мной ты? Откажись — слова не скажу, бери коня, уходи, в спину стрелять не стану. Так со мной?

— Я с собой, а не с тобой, но мне с тобой — по пути с собой.

— Хитришь?

— Я сам пришел.

— Тоже хитришь!

— Тогда уйду.

— Стой! Сядь. Деньги нужны?

— Здесь — да. А там — зачем они? Сейчас они там не в ходу.

— Значит — пойдешь?

— Пока пойду — дальше посмотрим. Мусульманин я.

— В Москву веду. Колокола малиновым звоном запоют.

— Москва твоя, Джеркут мой. Синица в кулаке...

— Хитер. Не хитришь — вижу, бери руку, друг я тебе. А теперь слушай...

«...Сказав, что сразу по получении от меня первой же информации вышлет ко мне на связь своего человека, который будет вместе со мной готовить вооруженное восстание против ненавистного большевистского режима. Этой же ночью, то есть сегодня, я перешел белую границу и вернулся в Джеркут. К. Чарышев».

Суворин вместе с прибывшим из РВС Туркфронта чекистом Даниловым составил подробный «план» расположения красных частей, дал «тщательный» анализ численности войск и отправил эти «точные» данные атаману.

А повез первую информацию молодой чекист Махмуд Ходжаров. Он должен был передать бумагу в руки атаману — с паролем по отзыву — и никому больше: так у Чарышева было договорено с Дуловым. За неделю Ходжаров ездил к Дулову еще два раза. Рассказывал — солдаты подтягиваются к Суйрану, артиллерию видел, караваны с пулеметами из Китая идут. Пулеметы новенькие, в масле, с длинными стволами, невиданной формы.

2 декабря 1920 года Чарышев одним пальцем отстучал на «Ундервуде» приказ по угрозыску о зачислении писарем и канцелярским секретарем гражданина А. Б. Нехорошко. А был этот «гражданин» личным посланником атамана Дулова. Когда он ночью постучался в окно к Чарышеву, тот принял его как родного, дал кожаную куртку, галифе с сапогами, снятыми на прошлой неделе с арестованного бандита, и тонкого шелка рубашку с графским вензелем под воротничком. Утром велел личному эмиссару атамана побриться, почистить как следует сапоги и отвел его в милицию. Посадил за стол у входа в свой кабинет. Первые часы Нехорошко особенно нервничал: ронял на пол бумаги, вздрагивал, как только входили в приемную посторонние люди, часто утирал лоб, покрывавшийся у висков холодной испариной.

Под вечер, когда во дворе милиционеры занимались строевой подготовкой, Чарышев вызвал к себе Нехорошко злым начальническим голосом — для тех, кто дожидался в приемной: затворил дверь кабинета и сказал уже иначе — добрым голосом единомышленника и друга:

— Вот извольте-ка посмотреть на моих людей.

Милиционеры во дворе «кололи» несуществующего врага и делали короткие перебежки.

— А пулеметов у нас нет, — вздохнул Чарышев, — а какая сейчас война без пулеметов? Так — шутки-с.

Нехорошко был человеком молодым и восторженным, беспредельно преданным Дулову и великой идее созыва Учредительного собрания. Увидев милиционеров, готовых к восстанию, он почувствовал трепет, и горло его сжал спазм.

В тот же час они с Чарышевым послали атаману письмо с просьбой выслать сюда пулеметы — для успеха восстания. Снова весточку от «чрезвычайно ценного агента» Дулова — Касем-хана Чарышева повез Махмуд Ходжаров. Ответ пришел неожиданный. Атаман требовал, чтобы Чарышев переправил ему свое личное оружие и еще две-три винтовки милиционеров — в залог (это всегда улика, своим же, мол, выдам в случае чего) и как последнее подтверждение верности — на жизнь и на смерть. Винтовки

Чарышев должен был передать под расписку лично полковнику Янчису, одному из командиров дуловского войска, выдвинутого теперь непосредственно на боевые позиции.

Когда Чарышев явился к Дулову с распиской от Янчиса, тот заметно обрадовался, много и красиво говорил о будущем России, ходил по кабинету медленно и гордо, лицу придал особую значительность: брови нахмурены, уголки губ— скорбно книзу, скулы замерли желваками решимости и гнева. Потом остановился напротив Чарышева, положил ему руку на плечо и сказал:

— Мои люди слыхали, будто большевики маленько перестают тебе верить. До тебя не доходило?

Суворин и Чарышев только вчера сами пустили этот слушок по Джеркуту: какой-то неизвестный обмолвился на базаре, в крытом мясном ряду, тихим шепотком — и пошло...

Чарышев удовлетворенно подумал: «Точно сработали». Ответил, пытаясь усмешкой скрыть страх:

— Не может быть. Они мне верят как себе.

Роль свою Чарышев разыгрывал точно и тонко.

Дулов покачал головой:

— Ты ошибаешься, Касемхан. Возвращать-

ся в Джеркут тебе не следует. Оставайся у меня — ждать теперь недолго, совсем недолго. Недельку-две осталось ждать.

Чарышев никак не изменился в лице, только почувствовал в себе тихую отчаянную ненависть. Поднялся:

— Да поможет аллах!

— Куда ты?

— К родичам, в Кульбу.

— Не надо. Оставайся у меня — вместе ждать будем. — Дулов сказал это беспокойно, наверное, досадуя, что проговорился о сроке. Чарышев понял это. Понял он, что все вступает в заключительную фазу и что каждый необдуманный шаг сейчас грозит ему смертью, а он — единственный теперь, кто знает о начале, которое должно быть через неделю или две.

— Как скажешь, атаман, — улыбнулся Чарышев, — как скажешь. Если нельзя к родичам в Кульбу, — может не веришь мне в чем... Так на нет и суда нет — останусь у тебя.

Человек, делающий черное дело, не верит окружающим так же, как не верит и самому себе. Но в то же время он обязан во имя успеха своего дела казаться доброжелательным, уверенным и непоколебимо спокойным.

Дулов, побледнев от враз захлестнувших его подозрений, сменил спокойный шаг на быструю пробежку из угла в угол. Потом взял

маленькую китайскую визитную карточку и сказал:

— Я тебе верю. Езжай. Как доедешь — вот это передашь.

И он написал бисерным почерком своим на визитной карточке: «Отец Падарин! Предъявитель сего из Джеркута — наш человек. Помогите ему во всех делах».

К «отцу Падарину» в Кульбу Чарышев не поехал. Туда ему никак нельзя было ехать, потому что никакого «отца Падарина», как он знал, не было. Вместо «отца Падарина» была дуловская контрразведка, а текст на китайской визитной карточке «помогите во всех делах» означал: «задержите подателя этой бумаги».

Чарышев вернулся в Джеркут, вызвал к себе Нехорошко и попросил его немедленно сообщить Дулову—от себя лично, от Нехорошко,— что он, Чарышев, не доехал до Кульбы, узнав, что среди его людей оказался предатель, который может испортить все дело и выдать ЧК участников готовящегося вооруженного восстания.

Нехорошко заволновался, стал выпытывать у Чарышева: «А как я?.. А что грозит мне?..»

— Вам — ничего. Вас я один знаю. Да и потом вы что — не готовы погибнуть во имя нашего общего дела?!

— Да нет, в общем-то, конечно, что же тут и говорить, но может быть... — ответил Нехо-

рошко и снова, как тогда — в первый день, почувствовал испарину у висков.

— Ну и хорошо, — сказал Чарышев, закуривая, — рад слышать. Давайте-ка садитесь и пишите письмо атаману.

И Нехорошко спросил:

— А что писать-то?

Чарышев облегченно вздохнул. Этот маленький бой он выиграл, причем довольно легко выиграл, на трусости своего контрагента, а от человечка по фамилии Нехорошко в значительной степени мог зависеть успех или провал главного боя, который еще предстоял.

— Пишите атаману вот что, — сказал Чарышев. — «К. Ч., несмотря на сложную обстановку, на наличие в наших рядах провокатора, рискуя жизнью, вернулся сюда, чтобы лично изобличить предателя и уничтожить его, а затем снова уйти за кордон, к Вам, накануне общего, нашего и Вашего, выступления...»

Чарышев подождал, пока Нехорошко кончит писать, а потом, отвернувшись, добавил:

— Ну и прибавьте там еще что-нибудь про героизм и про самоотверженность. Не мне вам это про себя диктовать.

Письмо было отправлено с Ходжаровым атаману. Нехорошко лег в холодную постель и долго дышал себе на грудь, чтобы унять частую

дрожь, а Чарышев, дворами, пошел к Суворину. Там уже был и Данилов из РВС. Чекисты молчали и курили. Говорить было не о чем — только что пришел приказ: казнить кровавого палача Дулова, врага трудового народа, повинного в тысячах убийств и замышляющего еще многие тысячи убийств во имя бредовой идеи своей.

Была создана боевая группа в составе чекистов Касемхана Чарышева, Махмуда Ходжарова, Кудука и Мукая Байсымовых, Юсупа Казырова и специальных курьеров братьев Азиза и Насыра Ушурбаевых.

Той же ночью осунувшийся за эти недели Чарышев увел с собой за кордон четырех чекистов, а Азиз и Насыр Ушурбаевы уходили жить, до особого приказа, на маленькую заброшенную мызу пастухов в предгорьях, неподалеку от границы — чтоб ни одна душа их не видела.

Утром ЧК арестовала — как было объявлено — группу заговорщиков в составе Нехорошко, братьев «изменника» Касемхана Чарышева — Аббаса и Батырхана, милиционеров «предателей» Розмаметова, Корнева и Жунусова. «Преступная группа» скрывшегося Чарышева была объявлена вне закона.

Операция по уничтожению Дулова вступала в свою последнюю стадию.

Пробравшиеся ночью в Суйран Чарышев и его люди поселились в самой дальней, малень-

кой комнатушке караван-сарая «Ляга», который располагался неподалеку от крепостных стен, обносивших центр Суйрана.

Первые три дня братья Байсымовы несколько раз выходили на разведку — бродили вблизи крепости Дулова, слушали разговоры, присматривались, что к чему. Атаман, по слухам, был болен и лежал в своем кабинете.

На третий день, поздно ночью, на связь к Чарышеву пришел Азиз Ушурбаев — семнадцатилетний чекист, тот самый, который до поры жил вместе со своим старшим братом на пастушеской мызе. Чарышев долго раздумывал: стоит ли его отправлять обратно в Джеркут. Никакой информации он передать Суворину не мог, а доложить о выполнении задания — тем более. Поэтому, решив, что лишний человек в самый последний момент может оказаться особенно нужным, он оставил Азиза при себе.

В комнатушке было душно, окна здесь не было. Чекисты во дворе караван-сарая не показывались, и к ним никто не заглядывал; хозяин постоялого двора был предупрежден, что в комнате — тяжелобольной человек.

А дни шли. Можно было предполагать, что Дулов и не болен вовсе; можно было предполагать, что он, запершись в своем штабе, заканчивает последние приготовления перед началом наступления на Советскую Россию. Это предпо-

ложение, в конце концов, оказалось истинным. Об этом и было сказано чекисту Насыру Ушурбаеву — последнему из группы Чарышева. Суворин написал маленькую записочку, скатал ее в трубочку и передал Ушурбаеву. Чекист спрятал ее в одной из незаметных дырочек своей стеганой шапки, попрощался с Суворинym и, вскочив в седло, поехал к границе. Он двинулся в Суйран самым коротким путем, через плавни и болота.

Ночь была безлунная и тревожная. Ветер, налетавший с высокогорных пустынь, приносил запах прелой травы: в этом году совсем не было снега, и трава на сорокаградусном морозе стояла желтая и от мороза словно бы стальная.

Ушурбаев приехал к Чарышеву около одиннадцати часов. Он бросил лошадь, задал ей корма и, переступая через тела спящих караван-баши из Китая, Индии и Афганистана, пошел в комнату к Чарышеву. Где-то рядом, чавкая, смеялся курильщик опия. Далеко выли собаки, и вой, скорбный и мятежный, уносился в черное небо к белому пятаку луны.

Чарышев полулежал на кошме и медленно курил, наблюдая за тем, как красный огонек раздирал сигарету. Сигарета была американская, с запахом диковинным и легким, будто медовым. Азиз, свернувшись калачиком, спал. Ходжаров сидел у стены, рядом с братьями

Байсымовыми. Они сидели, закрыв глаза, потому что им и спать не спалось, но и устали за эти дни от бессонницы сверх всякой меры.

— Замерз? — спросил Чарышев.

— Нет.

— Пей чай, он горячий.

— Спасибо. Вот — от Суворина.

Ушурбаев передал Чарышеву записку. Она была волглой от пота. Чарышев прочитал: «Он здоров. Надо кончать сегодня, в крайнем случае — завтра. Революция в опасности». Чарышев затушил сигарету, откинулся на спину, заложил руки за голову и посмотрел в потрескавшийся потолок. «Дулов верит мне, потому что для него я — «чичмек», для него я служу тому, кто больше платит. Слепец, сволочь! Никогда он не поймет моей правды — правды татарина, уйгура, казаха или узбека. Никогда не поймет той правды, которая пришла к нам из Петрограда. Труп он. Хоть пока и живой, а уже труп!» Чарышев закрыл глаза и сказал:

— Может быть, Азиза отправим обратно. Он — мальчик.

Все молчали и смотрели на Насыра, потому что он был старшим братом: сейчас решал он. Насыр допил чай и сказал:

— Рано или поздно мальчик должен стать солдатом. — Он осторожно тронул брата рукой за колено. Азиз вздрогнул всем телом, будто

конь, которого укусил слепень, быстро поднялся и — как и не спал.

Чарышев, по-прежнему лежа на спине, сказал:

— Сейчас мы пойдем туда.

Люди поднялись. Без команды.

— Нет, — сказал Чарышев, — вы сядьте пока — надо посидеть.

Все сели. Где-то рядом запел сверчок. Стало грустно и одиноко: сверчок на чужбине...

Касемхан достал карандаш и на маленьком кусочке рисовой бумаги написал: «Господин атаман! Хватит нам ждать — пора начинать, все сделано. Готовы. Ждем первого выстрела. Начнем вместе. Ваш Касемхан». Он подумал над запиской, хотел еще что-то написать, но не стал, свернул ее и протянул Ходжарову. Махмуд спрятал записку в карман.

— Азиз, — сказал Чарышев, — позови хозяина.

Тот пришел, поминутно кланяясь, потому что в глубине души он был уверен, что эти люди никакие не купцы, а контрабандисты или торговцы опиумом.

— Спасибо, старик, — сказал Чарышев, — твой дом был добрым для нас. Наш друг выздоровел. Мы уходим.

— Мир дороге вашей, и пусть луна для вас будет солнцем, — ответил старик.

В полукилометре от караван-сарая, под могильной плитой Кудук недавно зарыл два кавалерийских обреза. У каждого в кармане было по нагану и по лимонке. Обрез — он вернее нагана, он, как лимонка, на крайний случай. Кудук вытащил два обреза, завернутые в мешок, и догнал товарищей, которые медленно ехали к восточным воротам Суйрана. Здесь все, кроме Насыра, спешились. Над миром лежала тишина, осторожная, зимняя, гулкая.

У ворот с лошадьми остались Казыров и Кудук Байсымов с Азизом. По улице, ведущей к ставке Дулова, тихонько, сдерживая норовистую калмыцкую лошадь, поехал Насыр Ушурбаев. За ним шел Махмуд Ходжаров — первым. Чуть поодаль шел Чарышев, рядом с Мукаем Байсымовым. Мукай — в широком халате, и обрез поэтому совсем не был виден. Ушурбаев поехал чуть подальше за крепость. Он видел, как на фоне белой от лунного света стены медленно проходила тень часового и длинный штык как бы царапал камни все в одном и том же месте.

Ходжаров подошел к воротам, ведущим в ставку Дулова, — штык переместился сверху вниз, прикрывая дорогу к дверям. Ушурбаев сдержал лошадь. Лошадь стала. Штык снова поднялся, и Ходжаров скрылся в воротах. Он прошел через темный двор, навстречу поднимав-

шемуся со скамейки казаку, оскалился ровной улыбкой, шепнув пароль. Казак козырнул. Охранник, который стоял в прихожей, отворил дверь дуловского кабинета — Ходжарова он видел не раз.

На столе горела большая восковая свеча. Дулов сидел в кресле, подломив под себя правую ногу, и барабанил карандашом по разложенной перед ним карте. Подле него стоял адъютант и что-то записывал в маленьком блокноте. Дулов поднял глаза, разглядывая в темноте пришельца. Узнал. Спросил хмуро:

— Ну?

Махмуд подошел к Дулову и достал из кармана записку. Дулов развернул ее, прочел первые два слова «Господин атаман!», и что-то вдруг полоснуло его, по самому больному — по страху, по всегдашнему ужасу, который жил вместе с надеждой. Стремительно поднял глаза. Махмуд стоял перед ним, вбив свое тугое тело в мягкий цветастый ковер. Дулов выдохнул, отчего-то сморщил лицо и стал дальше разбираться в быстрых, набегавших одна на другую, буквах чарышевского письма. В это время Махмуд точным и незаметным движением вытащил из кармана наган и, прошептав ругательство, выстрелил в грудь атамана. Дулов упал.

На Махмуда бросился адъютант. Ходжаров выстрелил ему в лоб. Адъютант грохнулся на

стол, свалив свечу. Где-то рядом раздался пронзительный крик. Махмуд нащупал ногой Дулова, выстрелил в него еще раз. Бросился вон из комнаты. Прогрохотали выстрелы — один, другой, третий.

Мукай и Чарышев сняли часового и казака охраны, который метался с поднятым над головой наганом. Ходжаров поскользнулся на остром камне, упал, в колено вошла тугая рвущая боль. Он закусил губу, почувствовал во рту соленый привкус крови, заставил себя подняться и побежал дальше. Выскочив за ворота, увидел, как Насыр Ушурбаев, гарцуя на лошади, стрелял то вверх, то в ворота ставки.

В домах тушили свечи, а один-единственный шашлычник, который стоял над мангалом, в ужасе рассыпал угли, и они казались сейчас сотнями непотушенных сигарет на желтой, изорванной морозом земле. Ходжаров выскочил из ворот ставки, Мукай и Чарышев взвалили его на лошадь — все было кончено в мгновение.

...Так был приведен в исполнение приговор над кровавым атаманом Дуловым.

14 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЗНАНИЕ